

Пол Боулз

**СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ
ТОМ 3**

полночная месса

ДРУГ МИРА

Салам снимал две комнаты с кухней на втором этаже еврейского дома на краю города. Он решил поселиться с евреями, потому что раньше жил с христианами и понял, что с ними можно поладить. Он доверял им чуть больше, чем таким же мусульманам, как он сам, и говорил: «Мусульманам доверять нельзя». Мусульмане — единственные правильные люди, только их и можно понять. Но раз ты их понимаешь, ты им не веришь. Евреям Салам тоже не очень верил, но ему нравилось жить среди них, потому что они не обращали на него внимания. Не имело значения, обсуждают они его между собой или нет; главное — никогда не станут говорить о нем с мусульманами. Будь у него гулящая сестра, которая бы получала деньги от разных мужчин, потому что ей нужно кушать, это никого бы не возмутило, и евреи не тыкали бы в нее пальцами, когда она его навещала. Если бы он не женился, а жил с братом и проводил время, куря *киф* и веселясь, если бы каждый месяц ездил в Танжер на неделю и зарабатывал деньги, трахаясь со старыми англичанками и американками, которые пьют слишком много виски, евреям было бы все равно. Он ведь мусульманин. Будь он богат, он бы жил на испанской окраине города в вилле с бетонными скамейками в саду, а в гостиной у него была бы большая круглая лампа, с которой свисало бы много стекляшек. Но он был беден и жил с евреями. Чтобы добраться до дома, ему надо было дойти до конца *медины*, потом пересечь пустырь, где вырубili все деревья, пройти по улице, где все склады бросили уехавшие испанцы, и свернуть на новую улочку погрязнее, что вела к главному шоссе.

А на полпути вниз начинался переулок, где жили они с братом и четырнадцать еврейских семей. Кое-где тут еще сохранился узкий тротуар по краям глубокой канавы, заваленной кучами гниющих арбузных корок и битым кирпичом. Детишки играли здесь целый день. Когда Салам торопился, приходилось быть осторожным, чтобы не наступить на какого-нибудь малыша, возившегося в лужице мыльной воды и мочи перед дверью. Будь они мусульманскими детьми, он бы с ними поговорил, но поскольку они были евреями, он вообще воспринимал их не как детей, а просто как помеху на пути — точно кактусы, которые приходится осторожно перешагивать, когда обойти не удастся. Салам жил тут уже почти два года, но ни одного еврея не знал по имени. Для него они были безымянными. Если он возвращался домой и обнаруживал, что дверь заперта, потому что брат куда-то вышел и взял с собой оба ключа, Салам просто заходил в любой дом, где была открыта дверь, бросал поклажу на пол и говорил: «Скоро вернусь». Он знал, что к его вещам не притронутся. Евреи не были дружелюбными, но не были и враждебными. Они тоже, появившись у них деньги, поселились бы в испанском районе. К тому же, поскольку тут жили два мусульманина, их переулок не совсем был похож на *меллах*, где обитают одни евреи.

Дом Салама был лучший в переулке. Он стоял в самом конце, и окна выходили на заросли фиговых деревьев и сахарного тростника, где бедняки смастерили хибары из соломы и гнутой жести. В жаркие ночи (город стоял на равнине, и улицы долго не остывали после захода солнца) в комнатах гулял южный ветер и продувал террасу. Салам был доволен домом и тем, как они жили тут с братом. «Я — друг мира, — говаривал он. — Лучше всего на свете иметь чистое сердце».

Как-то раз он вернулся домой и обнаружил на террасе котенка. Увидев Салама, котенок подскочил к нему и замурлыкал. Салам отпер дверь на кухню, и котенок забежал внутрь. Помыв руки и ступни на кухне, Салам зашел в комнату. Котенок лежал на тюфяке и по-прежнему мурлыкал.

— Мими, — сказал ему Салам. Он дал котенку хлеба. Тот ел хлеб и все равно мурлыкал. Вернулся домой Бу Ралем. Он пил пиво с друзьями в кафе «Гранада». Сначала брат не понял, почему Салам разрешил котенку остаться.

— Слишком маленький, от него никакого проку, — сказал он. — Увидит крысу — убежит и спрячется.

Но когда котенок залез к нему на колени и замурлыкал, он понравился Бу Ралему.

— Его зовут Мими, — сказал Салам.

По ночам котенок спал на тюфяке у ног Салама. Он научился выходить в переулок и делать свои дела там в грязи. Иногда дети пытались его поймать, но он бегал быстрее и раньше них забирался по ступенькам, а на крыльцо они лезть не решались.

Во время Рамадана братья не спали по ночам: они выносили циновки, подушки и тюфяки на террасу и валялись там до рассвета, болтая и смеясь. Они больше обычного курили *киф* и приглашали друзей на ужин в два часа ночи. Поскольку жили они на террасе и котенок слышал их из переулка, он осмелел и стал забираться в заросли тростника за домом. Бегал он очень быстро, и даже если за ним гналась собака, все равно успевал забраться на крыльцо. Когда Салам не мог его найти, он вставал, подходил к перилам и кричал: с одной стороны — в переулок, с другой — над деревьями и крышами лачуг. Порой, когда Салам кричал в переулок,

из одной двери выбегала еврейка и смотрела на него. Он заметил, что женщина всегда одна и та же. Она ладонью прикрывала глаза от солнца, а потом упирала руки в бока и хмурилась. «Сумасшедшая», — решил он и не обращал на нее внимания. Как-то раз, когда он звал котенка, женщина заорала на него по-испански. Ее голос звучал очень зло.

— Оуэ! — кричала она, размахивая рукой. — Почему ты называешь имя моей дочери?

Салам продолжал звать:

— Мими! Аги! Агиаги, Мими!

Женщина подошла ближе к крыльцу. Двумя руками она прикрыла глаза от света, но солнце стояло за спиной Салама, так что она видела его не очень хорошо.

— Вздумал оскорблять людей? — кричала она. — Я тебя раскусила. Глумишься надо мной и моей дочерью.

Салам рассмеялся. Он прижал указательный палец к виску и повертел им.

— Я зову свою кошку. А твою дочь и знать не знаю.

— Твою кошку зовут Мими, потому что ты знаешь, что мою девочку зовут Мими. Почему ты не ведешь себя, как цивилизованные люди?

Салам снова рассмеялся и вернулся в дом. О женщине он и думать забыл. Через несколько дней котенок исчез, и сколько Салам его ни звал, так и не вернулся. В ту ночь они с Бу Ралемом пошли искать его в сахарном тростнике. Луна светила ярко, и они увидели, что он лежит мертвый и отнесли в дом посмотреть. Кто-то дал котенку кусочек хлеба с иголкой внутри. Салам медленно опустил на тьюфяк.

— *Йехудия*¹, — сказал он.

¹ Еврейка (араб.). — Здесь и далее прим. переводчиков.

— Ты не знаешь, кто это сделал, — сказал ему Бу Ралем.

— Это была *йехудия*. Брось мне *мотту*¹.

И он стал курить *киф*, одну трубку за другой. Бу Ралем понял, что Салам ищет ответ, и потому молчал. Вскоре он увидел, что пришла пора выключить электричество и зажечь свечу. После этого Салам тихо лег на тюфяк и слушал, как на улице лают собаки. Время от времени он садился и набивал *себси*². В какой-то момент он передал ее Бу Ралему и с улыбкой откинулся на подушках. Он понял, что нужно сделать. Когда они ложились спать, он сказал Бу Ралему:

— Эта мать намочит себе штаны.

На следующий день он встал спозаранку и пошел на рынок. В маленькой палатке он сделал много покупок: воронье крыло, сто граммов семян *ждук джмеля*³, порошок из игл дикобраза, чуточку меда, сушеную ящерицу и четверть кило *фасуха*⁴. Расплатившись, он отвернулся, словно собрался уходить, но потом сказал: «*Хай*, дай мне еще пятьдесят граммов *ждук джмеля*». Торговец взвесил и завернул семена, и Салам заплатил и пошел домой, держа сверток в левой руке. В переулке дети швырялись друг в друга комьями грязи. Когда он проходил мимо, они затихли. Женщины с платками на головах сидели в дверях. Проходя мимо дома, где жила женщина, убившая Мими, он выронил пакетик с семенами *ждук джмеля*. Затем поднялся на свою террасу, подошел к двери и громко постучал. Постоял на виду у всех посреди террасы, потирая подбородок. Чуть обождав, забрался на соседскую террасу и постучал в дверь. Вышла женщина, и он отдал ей сверток.

1 Кисет (*араб.*).

2 Трубка для кифа (*араб.*).

3 Галлюциногенное растение.

4 Благовоние, изгоняющее злых духов.

— Забыл ключи на рынке, — сказал он. — Сейчас вернусь. Он выскочил наружу, побежал по переулку и по улице. За гаражом Гайлана стоял Бу Ралем. Проходя мимо, Салам кивнул и двинулся дальше, не останавливаясь. Бу Ралем пошел в обратную сторону, к дому. Когда он открывал калитку на террасе, соседка окликнула его:

— Ты не видел брата? Он забыл ключи на рынке.

— Нет, — сказал Бу Ралем и вошел, не закрыв за собой дверь. Он сел и закурил, выжидая. Вскоре голоса в переулке стали громче. Он встал, подошел к двери и прислушался. Женщина причитала:

— Это *ждук джмель*. Его держала Мими.

Послышались новые голоса, и женщина с соседней террасы выбежала вниз в халате со свертком в руках. «Удалось», — сказал себе Бу Ралем. Когда женщина подошла, крик стал громче. Какое-то время Бу Ралем слушал, улыбаясь. Потом вышел и сбежал вниз. Все собрались в переулке перед дверью женщины, а девочка вопила внутри. Не глядя на них, он пробежал по другой стороне переулка.

Салам сидел в кафе и пил чай.

— Садись, — сказал он Бу Ралему. — До одиннадцати я к Фатме Даифе не пойду. — Он заказал брату чай. — Сильно шумели?

Бу Ралем кивнул.

— Хотелось бы мне их послушать, — сказал Салам.

— Еще услышишь, — ответил Бу Ралем. — Они не угомонятся.

В одиннадцать они вышли из кафе и отправились по переулкам *медины* к дому Фатмы Даифы. Это была сестра матери их матери, так что к семье не принадлежала, и они сочли, что включить ее в игру не будет позором. Она ждала их у дверей, и втроем они направились к дому Салама.

Старуха первой пошла в переулок, обогнав Салама и Бу Ралема, и направилась напрямик к двери, возле которой толпились женщины. Свой *хаик* она затянула так плотно, что лица совсем не было видно, один только глаз. Она подошла к еврейкам и протянула ладонь.

— Отдайте мои вещи, — сказала она. Она не трудилась говорить по-испански, потому что знала: евреи понимают арабский. — У вас мои вещи.

У них ее вещи действительно были, и они все еще разглядывали их, но тут все обернулось к ней. Она забрала пакетики и быстро спрятала в своей *куффе*.

— Бесстыдницы! — прикрикнула она на женщин. — Идите и следите за своими детьми.

Она растолкала их и вернулась в переулок, где ее поджидали Салам и Бу Ралем. Все трое поднялись в дом Салама и заперли дверь. Они пообедали и просидели в доме весь день, болтая и смеясь. Когда пришла пора спать, Салам проводил Фатму Даифу домой.

На следующий день, когда они вышли, все евреи пялились на них, но никто не сказал ни слова. Женщина, которую Салам хотел напугать, вообще не вышла за дверь, и ее дочка не играла с другими детьми в переулке. Ясно было, что евреи решили, будто Фатма Даифа сглазила ребенка. Они бы не поверили, что Салам и Бу Ралем одни способны на такое, но знали, что у мусульманской женщины сила есть. Братья были очень довольны шуткой. Заниматься колдовством запрещено, но старуха была их свидетелем, что они ничего такого не делали. Она унесла домой свертки, которые забрала у евреек, и обещала хранить, чтобы, случись что, доказать: их не использовали.

Еврейка пошла жаловаться в *comisaría*. Молодой полицейский сидел за столом и слушал, держа в руке,

маленький приемник. Она стала рассказывать ему, что мусульмане в ее *хауме* купили зелья, чтобы навредить ее дочери. Полицейскому она не понравилась, потому что была еврейкой, говорила не по-арабски, а по-испански, да и к тому же он недолюбливал людей, верящих в колдовство. И все же он вежливо слушал, пока она не сказала:

— Этот мусульманин — *sinvergüenza*¹.

Она хотела поправиться — объяснить, что среди мусульман тоже много хороших людей, но ему ее слова не пришлись по вкусу. Он хмуро посмотрел на женщину и сказал:

— Зачем ты все это говоришь? С чего ты взяла, что они сплестили твою дочку?

Она объяснила, что все трое заперлись со свертками плохих вещей с рынка. Полицейский посмотрел на нее удивленно:

— И ты пришла сюда из-за дохлой ящерицы? — засмеялся он. Он отослал ее прочь и снова принялся слушать свой приемник.

Люди в переулке по-прежнему не разговаривали с Саламом и Бу Ралемом, а девочка не выходила играть с другими детьми. Отправляясь на рынок, женщина брала дочь с собой.

— Держись за мою юбку, — говорила она ей. Но как-то раз перед автомастерской девочка на минуту отпустила мамину юбку. А, побежав за матерью, упала и порезала коленку осколком бутылки. Женщина увидела кровь и закричала. Стали собираться люди. Через несколько минут появился еврей и помог женщине отнести ребенка в аптеку. Там девочке перевязали колено, и женщина

¹ Бессовестный (*исп.*).

отвела ее домой. Потом она пошла в аптеку забрать свои корзины, но по пути заглянула в участок. За столом сидел тот же полицейский.

— Если вам нужны доказательства, посмотрите, что стряслось с моей дочерью.

— Ну что еще? — сказал полицейский.

Он разговаривал с ней неприязненно, однако записал ее имя и адрес и вечером по дороге домой заглянул к ней. Посмотрел на колено девочки и пощекотал ее, так что та рассмеялась.

— Все дети падают, — сказал он. — Но кто этот мусульманин? Где он живет?

Мать показала ему крыльцо в конце переулка. Полицейский не собирался говорить с Саламом, но решил отделаться от этой женщины раз и навсегда. Он вышел в переулок и, заметив, что женщина наблюдает с порога, направился к крыльцу. Решив, что она больше не смотрит, он пошел прочь. Но тут услышал за спиной голос. обернулся и увидел, что Салам стоит на террасе. Лицо Салама ему не очень понравилось, и полицейский решил, что перемолвится с ним парой слов, если как-нибудь повстречает.

Однажды утром Салам отправился с утра пораньше на рынок купить свежего *кифа*. Отыскав, купил сразу на три сотни франков. Когда он выходил из ворот, его остановил поджидавший на улице полицейский.

— Разговор есть, — сказал полицейский.

Салам стиснул в кармане пакетик *кифа*.

— Все в порядке? — спросил полицейский.

— Все хорошо, — ответил Салам.

— Никаких проблем? — настаивал полицейский, словно знал, что купил Салам.

— Никаких, — ответил Салам.

— Ну так следи, чтобы не было, — велел полицейский.

Салама раздражало, что с ним разговаривают вот так без причины, но в кармане был *киф*, и он мог только поблагодарить, что его не обыскивают.

— Я — друг мира, — попытался улыбнуться он.

Полицейский не ответил и пошел прочь.

«Скверная история», — думал Салам, торопясь домой с *кифом*. Никогда прежде к нему не приставала полиция. Добравшись до своей комнаты, он подумал, не засунуть ли пакетик под плитку на полу, но решил, что тогда он станет похож на еврея, который при каждом стуке в дверь прячет голову и дрожит. Он демонстративно рассыпал *киф* по столу и оставил так. После обеда они с Бу Ралемом нарезали листья. Салам не рассказал про полицейского, но думал о нем за работой. Когда солнце спустилось над равниной и в окна задул ветерок, он снял рубашку, развалился на подушках и закурил. Бу Ралем положил свежий *киф* в *моттоуи* и пошел в кафе.

— Я останусь дома, — сказал Салам.

Он курил час с лишним. Ночь была жаркой. В тростниках залаяли собаки. В одной из хижин внизу затеяли ссору женщина и мужчина. Иногда женщина переставала браниться и просто визжала. Их крики раздражали Салама. Ему не удавалось быть счастливым. Он встал, оделся, взял *себси* и *моттоуи* и вышел. Вместо того чтобы направиться в город, он свернул из переулка к шоссе. Ему хотелось посидеть в тихом месте и решить, что делать. Если бы полицейский его не подозревал, не стал бы останавливать. Остановил один раз — может остановить снова, и тогда обыщет. «Это не свобода», — сказал себе Салам. Мимо проехали несколько машин. В свете их фар стволы деревьев казались желтыми.

После того, как проезжала машина, оставались только голубой свет луны и небо. Дойдя до моста, Салам спустился по берегу под его опоры и пошел по тропинке к утесу, нависавшему над водой. Там он сел и стал смотреть с обрыва на глубокую мутную реку, струящуюся вниз в лунном свете. Он чувствовал *киф* в голове и знал, что заставит его работать на себя.

Медленно он выстроил план. Это обойдется в тысячу франков, но они у него были, и он решил их потратить. Выкурил шесть трубок и, когда все в голове у него выстроилось, засунул *себси* в карман, поднялся и по тропинке добрался до шоссе. Он быстро дошагал до города, пройдя до *медины* по проселочной дороге, где стояли дома с садами, а за стенами собаки лаяли на луну. Прохожие в этой части города встречались редко. Он зашел в дом своего двоюродного брата Абдаллы, который был женат на женщине из Сиди-Касема. Дом никогда не пустовал — там всегда гостили двое или трое его братьев со своими семьями. Салам тихонько переговорил с Абдаллой на улице и вызвал одного из братьев, чье лицо не было известно в городе. Абдалла вернулся в дом и быстро привел человека. Тот был с бородой, в деревенской *джеллабе*, а башмаки нес в руках. Они поговорили несколько минут.

— Ступай с ним, — велел Абдалла, когда разговор закончился.

Салам и бородач попрощались и ушли.

Эту ночь человек провел в доме Салама на циновке в кухне. Когда пришло утро, они умылись и выпили кофе со сладостями. За завтраком Салам выгащил тысячефранковую банкноту и положил в конверт. На конверте Бу Ралем вывел карандашом GRACIAS¹. Вскоре Салам и

¹ Спасибо (*исп.*).

бородач поднялись, отправились в город и дошли до заднего входа в полицейский участок. Они встали на другой стороне улицы возле стены и поговорили.

— Ты не знаешь, как его зовут, — сказал человек.

— Нам и не нужно, — сказал Салам. — Когда он выйдет, сядет в машину и поедет, подбеги к одному из офицеров, отдай ему конверт и скажи, что ты пытался поймать его, но он уехал. — Он помахал конвертом в руке. — Скажи, чтобы ему передали, когда он вернется. Они возьмут.

— А если он пойдет пешком? — спросил человек. — Тогда что мне делать?

— Полицейские никогда не ходят, — ответил Салам. — Сам увидишь. Потом снова беги. Лучше всего по этой улице. Беги и все. Меня здесь не будет. Увидимся у Абдаллы.

Ждали они долго. Солнце пекло, и они перебрались в тень фигового дерева, не спуская глаз с двери *comisaría*. Полицейские выходили, и всякий раз деревенский пытался бежать, но Салам придерживал его, говоря «нет, нет, нет!» Когда полицейский, которого они ждали, появился на пороге, Салам глубоко вздохнул и прошептал:

— Вот он: дождись, пока он уедет, потом беги. — Он повернулся и быстро зашагал по улице в *медину*.

Человек из деревни объяснил, кому предназначен конверт, передал его полицейскому, сидевшему за столом, сказал «спасибо» и выбежал прочь. Дежурный взглянул на конверт, пытался окликнуть посетителя, но того и след простыл. Поскольку почта для всех полицейских должна была сперва попадать на стол капитана, дежурный передал письмо в его кабинет. Капитан поднес конверт к свету. Когда полицейский вернулся, начальник вызвал его и поставил вскрыть конверт.

— От кого это? — спросил капитан.

Полицейский почесал в затылке. Ответить он не мог.

— Ясно, — сказал капитан.

На следующей неделе он перевел полицейского. Из столицы пришло распоряжение отправить его в Риссани.

— Посмотрим, сколько друзей ты сможешь завести в пустыне, — сказал ему капитан. Он и слушать не хотел то, что говорил полицейский.

Салам поехал в Танжер. Вернувшись, он узнал, что полицейского отправили в Сахару. Известие очень его развеселило. Он пошел на рынок и купил козленка. Потом пригласил Фатму Даифу, Абдаллу с женой, двух его братьев с женами и детьми; они зарезали козленка и съели. Расходились по домам почти на рассвете. Фатма Даифа не хотела идти по улице одна и, поскольку Салам и Бу Ралем напились и не могли ее проводить, легла на кухонном полу. Когда она проснулась, было уже поздно, но Салам и Бу Ралем еще спали. Она собрала вещи, надела *хаик* и вышла. Подойдя к дому, где жили женщина с дочкой, она остановилась и заглянула внутрь. Женщина испугалась.

— Что тебе нужно? — закричала она.

Фатма Даифа знала, что лезет не в свое дело, но решила, что это поможет Саламу. Она сделала вид, что не замечает испуганного лица женщины, потрясла кулаком в сторону террасы Салама и закричала в пустоту:

— Теперь я вижу, что ты за человек! Думаешь, можешь меня обмануть? Послушай меня! Ничего из этого не выйдет, ясно? — И пошла по переулку, крича: — Ничего не выйдет!

Другие еврейки вышли, столпились у двери и сели перед ней на бордюр. Они решили, что если старуха поссорилась с мужчинами, больше вреда от магии не будет, потому что лишь у старухи есть сила насылать порчу. Мать девочки была счастлива, и на следующий день ребенок играл в грязи с остальными.

Салам входил и выходил из переулка, как обычно, не замечая ни детей, ни взрослых. Прошло две недели, прежде чем он сказал Бу Ралему:

— Кажется, евреи угомонились. Я утром видел на улице ненастоящую Мими.

Теперь, когда полицейский уехал, Салам снова был свободен и мог, не тревожась, с *кифом* в кармане ходить в кафе. Однажды он снова встретил Фатму Даифу, и та спросила его о евреях из переулка.

— С этим кончено. Они забыли, — сказал он.

— Хорошо, — отозвалась она.

Вернувшись домой, она взяла порошок из игл дикобраза, воронье крыло, семена и остальные свертки. Положила в корзинку, отнесла на рынок и продала, а на вырученные деньги купила хлеба, масла и яиц. Вернулась домой и приготовила ужин.

1961

ГИЕНА

Аист летел над пустыней на север. Ему захотелось пить, и он принялся искать воду. Долетев до гор Кан-эль-Гар, в одном ущелье он заметил озерцо. Скользнув между скал вниз, аист опустился у края воды. Затем шагнул в нее и стал пить.

В ту же минуту, прихрамывая, к озерцу подошла гиена и, увидев пьющего аиста, сказала:

— И далек ли твой путь?

Аист никогда раньше не видел гиен. «Так вот какая она, гиена», — подумал он и принялся наблюдать за ней: ему рассказывали, что если даже капля мочи ненароком попадет на кого, он пойдет за гиеной, куда бы та его ни повела.

— Скоро лето, — сказал аист. — Я держу путь на север.

С такими словами он отошел подальше от берега, чтобы не подпускать к себе гиену. Но там было глубже, и аист чуть не упал — пришлось пару раз взмахнуть крыльями. Гиена обошла озерцо и посмотрела на аиста с другого берега.

— Я знаю, что у тебя на уме, — сказала гиена. — Ты веришь этим рассказням обо мне. Но неужто у меня и впрямь такая сила? Быть может, в далеком прошлом гиены и были таковы. Но теперь мы ничем не отличаемся от прочих. Хотя обмочить тебя я бы могла и отсюда, если б захотела. Но зачем? Если не желаешь дружить, иди на середину и стой там.

Аист оглядел озерцо и понял, что нет здесь ни единого места, где гиена бы его не достала.

— Я уже попил, — сказал аист. Он расправил крылья и выскочил из воды. А на берегу разбежался, взмыл

в воздух и, кружа над озерцом, поглядывал на гиену.

— Выходит, ты и есть страшилище? — сказал он. — Сколько странного в мире.

Гиена глянула вверх. Глаза ее лживо щурились.

— Всех нас Аллах привел сюда, — сказала она. — И тебе это известно. Ты ведь про Аллаха знаешь.

Аист опустилсся ниже.

— Это правда, — ответил он. — Хотя странно такое слышать от тебя. У тебя дурная слава, ты же сама только что сказала. А колдовство противно воле Аллаха.

Гиена склонила голову набок.

— Стало быть, ты все-таки веришь в эту ложь! — воскликнула она.

— Я не заглядывал в твой мочевой пузырь, — ответил аист. — Но почему же тогда все твердят, что им ты творишь колдовство?

— И зачем только Аллах дал тебе мозги? Ты ведь даже не научился думать. — Но гиена произнесла это так тихо, что аист ничего не расслышал.

— Твои слова унесло, — сказал он и спустился еще ниже.

Гиена снова посмотрела вверх:

— Я сказала: «Не приближайся ко мне, а то подниму ногу и окачу тебя своим колдовством!» — Гиена расхохоталась, аист же подлетел так близко, что заметил: зубы у гиены бурые.

— Но все равно — должна ведь быть причина... — начал аист. Он приглядел скалу повыше над гиеной и устроился на ней. Гиена присела внизу и уставилась на аиста. — Почему тебя называют страшилищем? Что ты натворила?

Гиена прищурилась.

— Счастливчик, — сказала она аисту. — Людям никогда не хотелось тебя убить — они думают, что ты свят.

Тебя называют праведником и мудрецом. Однако ни на святого, ни на мудрого ты не похож.

— То есть как? — быстро спросил аист.

— Если б ты и впрямь понимал, то знал бы, что колдовство — просто пылинка на ветру, и всё — в руке Аллаха. Ты бы не боялся.

Аист стоял и молчал очень долго — он думал. Поднял ногу и, согнув, подержал ее перед собой. Солнце спускалось, и ущелье заливало красным. Гиена тихо сидела, поглядывая на аиста и дожидаясь, когда он заговорит.

Наконец аист опустил ногу, открыл клюв и молвил:

— Стало быть, если даже колдовства нет, грешник в него верит?

Гиена захохотала:

— Я ничего не говорила о грехе. Это ты сказал, а ты у нас мудрец. Кто я такая в этом мире, чтобы рассказывать кому-то о правом и неправом? Дожить бы от рассвета до заката. Все вокруг желают моей смерти.

Аист снова поднял ногу и погрузился в раздумья. Последний свет дня взмыл в небеса и растаял. Скалы и склоны потерялись во мгле.

В конце концов, аист произнес:

— Тут с тобой поневоле задумаешься. Это хорошо. Но спустилась ночь, и я должен лететь. — Он расправил крылья, собираясь взлететь с уступа, на котором стоял. Гиена прислушалась. Крылья аиста медленно били воздух, а потом она услышала, как его тело ударилось о скалу на другой стороне ущелья. Гиена пробралась меж камней и нашла аиста.

— У тебя сломано крыло, — сказала она. — Лучше б ты улетел при свете дня.

— Да, — ответил аист. Он испугался и совсем пал духом.

— Пойдем ко мне домой, — предложила гиена. — Ты идти хоть можешь?

— Да, — ответил аист. Вдвоем они спустились в низину и скоро добрались до пещеры в откосе. Гиена вошла первой, крикнув аисту:

— Пригнись, — а уже внутри сказала: — Теперь можешь разогнуться. Здесь уже высоко.

Внутри была только тьма. Аист замер.

— Где ты? — позвал он.

— Я здесь, — ответила гиена и захохотала.

— Почему ты смеешься? — спросил аист.

— Я подумала о том, как странен мир, — отозвалась гиена. — Святой вошел в мою пещеру, потому что верит в колдовство.

— Я не понимаю, — сказал аист.

— Это оттого, что ты сбит с толку. Но теперь ты по крайней мере видишь, что никакого колдовства у меня нет. Я ничем не отличаюсь от прочих в этом мире.

Аист не сразу ей ответил. Вонь гиены чувствовалась где-то совсем близко. Потом, вздохнув, он сказал:

— Конечно, ты права. Нет власти превыше власти Аллаха.

— Я довольна, — дыша аисту прямо в лицо, сказала гиена. — Ты наконец-то понимаешь. — И тут же схватила аиста за шею и разодрала ее. Аист забился и рухнул на бок.

— Аллах даровал мне кое-что получше колдовства, — тихо вымолвила гиена. — Он дал мне разум.

Аист лежал недвижно. Он хотел было повторить, что нет власти превыше власти Аллаха, но клюв его лишь распахнулся во тьме.

Гиена отвернулась.

— Через минуту ты умрешь, — обронила она через

плечо. — А через десять дней я вернусь. К тому времени ты созреешь.

Прошло десять дней, гиена пришла в пещеру и нашла аиста там же, где оставила. Муравьев не было.

— Хорошо, — сказала гиена. Она сожрала то, что хотела сожрать, и выбралась на широкую плиту, что прикрывала вход сверху. И там, под луной немного постояла, блюя.

Затем поела своей блевоты и долго каталась в ней, чтобы получше втерлась в шкуру. А после вознесла благодарение Аллаху за то, что глаза ее видят всю низину в лунном свете, а нос чувствует пададь по ветру. Гиена покаталась еще немного и полизала камень под собой. Полежала на нем, тяжело отдуваясь. Затем встала и похромала дальше по своим делам.

1962

ВЕТЕР В БЕНИ-МИДАРЕ

В Бени-Мидаре есть казармы. Ряды невысоких зданий, побеленных, стоят среди скал, на склоне горы за городом. Здесь тихо, когда ветер не дует. В домах вдоль дороги по-прежнему живут несколько испанцев. Торгуют в лавках. А на улицах теперь встретишь только мусульман, горцев с козами и овцами или солдат из *квартиля* — они ищут вино. Испанцы продают вино только знакомым. Один еврей продает его кому угодно. Но всем желающим вина никогда не хватает. В Бени-Мидаре только одна улица: спускается с гор, вертится туда-сюда, точно змея, между домами, и снова убегает в горы. Воскресенье — плохой день, единственный выходной у солдат, когда они могут с утра до вечера шляться взад-вперед меж домами и лавками. Несколько испанцев в черной одежде заходят в церковь в тот час, когда рмарцы гонят осликов с базара. Потом испанцы выходят из церкви и идут домой. Ничего больше не происходит, потому что все лавки закрыты. Солдатам нечего купить.

Дрисс прослужил в Бени-Мидаре восемь месяцев. Он не горевал — командовавший его подразделением *кабран* был его соседом в Тетуане. У *кабрана* был друг с мотоциклом. Вдвоем они каждый месяц ездили в Тетуан. Там *кабран* навещал сестру Дрисса, и она собирала большой сверток еды, чтобы отправить в казармы. Она посылала брату кур и пирожки, сигареты, инжир и много крутых яиц. Дрисс делился яйцами с друзьями и не жаловался на жизнь в Бени-Мидаре.

Даже бордели в воскресенье не работали. В этот день все бродили из одного конца города в другой,

взад-вперед, по многу раз. Иногда Дрисс гулял так со своими друзьями. Но обычно брал винтовку и шел в долину охотиться на зайцев. Вернувшись в сумерках, оставившись в маленьком кафе на окраине, выпивал стакан чая и выкуривал несколько трубок *кифа*. Он бы не стал ходить в это кафе, но другого не было. Здесь случались постыдные вещи. Несколько раз он видел горцев, которые поднимались со своих циновок и плясали так, что на полу оставалась кровь. Эти люди были *джилали*, и никто, даже Дрисс, не решился бы их остановить. Они плясали не потому, что хотели плясать, — именно это злило и возмущало его. Ему казалось: мир должен быть таким, что человек волен плясать или нет — по своему желанию. А *джилали* могут делать лишь то, что велит им музыка. Когда музыканты, тоже *джилали*, играют музыку, у которой есть власть, глаза горца закрываются и он валится на пол. И пока человек не докажет и не выпьет собственную кровь, музыканты не заиграют такую музыку, которая вернет его в мир. Надо что-то с этим делать, — сказал Дрисс другим солдатам, пришедшим с ним в кафе, и все согласились.

В городском саду он поговорил об этом с *кабраном*. Тот ответил: *дженун* не останется, когда все дети в этой стране будут ходить каждый день в школу. Женщины больше не смогут наводить чары на своих мужей. И *джилала*, и *хамача*, и все остальные прекратят резать себе ноги, руки и грудь. Дрисс долго об этом думал. Ему было приятно, что правительство знает об этих гадостях. «Но если они знают, — думал он, — почему не сделают что-нибудь прямо сейчас? В тот день, когда каждый ребенок сможет ходить в школу, я буду лежать рядом с Сиди Али Эль-Мандри». Есть такое кладбище у Баб-Себты в Тетуане. Когда Дрисс вновь увидел *кабрана*, он сказал:

— Если они могут что-то сделать, надо делать это сейчас. Похоже, *кабрану* было неинтересно.

— Да, — ответил он.

Когда Дрисс получил увольнительную и отправился домой, он передал отцу слова *кабрана*.

— Ты хочешь сказать, правительство считает, будто может убить всех злых духов? — воскликнул отец.

— Верно. Может, — ответил Дрисс, — и собирается это сделать.

Его отец был старый и не доверял молодым людям, которые теперь управляли страной.

— Это невозможно, — сказал он. — Лучше бы оставили их в покое. Пусть живут под своими камнями. Дети и раньше ходили в школу, и многим ли навредили *джехун*? Но если правительство начнет им пакостить, увидишь, что случится. Первым делом они примутся за детей.

Дрисс и не рассчитывал, что отец заговорит иначе, но при этих словах ему стало стыдно. Он не ответил. Не все его друзья чтили бога. Они ели в Рамадан и перечили отцам. Дрисс радовался, что не похож на них. Но он подозревал, что отец ошибается.

Как-то жарким летним воскресеньем, когда небо было очень голубым, Дрисс долго не вставал с постели. Мужчины, спавшие в его казарме, ушли. Он послушал радио. «В долине будет хорошо в такой денек», — подумал Дрисс. Он представил, как плавает в большом пруду, как потом солнце будет печь спину. Дрисс поднялся, отпер шкаф, где стояла винтовка. Но еще не достав ее, воскликнул: «*Йах латиф!*»¹, ибо вспомнил, что у него остался только один патрон, а сейчас воскресенье.

¹ Боже мой! (*араб.*)

Он захлопнул дверцу шкафа и снова забрался в постель. По радио начались новости. Дрисс привстал, плюнул с кровати как можно дальше и выключил радио. В тишине он услышал: на дереве *сафсаф* за окном поет множество птиц. Он почесал голову. Затем встал и оделся. Во дворике он увидел Меди — тот шагал к лестнице. Меди шел заступать в караул в будке за воротами.

— *Кхай!*¹ Хочешь получить четыре риала?

Меди посмотрел на него.

— «Это номер шестьдесят, три, пятьдесят три?» — Так называлась египетская песня, которую передавали по радио почти каждый день. Песня заканчивалась словом «ничего». «Ничего, ничего», — так пели снова и снова.

— Почему бы и нет? — Пока они шли бок о бок, Дрисс почти прижимался к Меди, и бедра их терлись друг о друга. — Это стоит десятку, *хойя*².

— Со всеми патронами?

— Тебе прямо здесь открыть и показать? — Голос Меди был сердитым. Говорил он, почти не размыкая губ.

Дрисс ничего не ответил. Они поднялись по ступеням. Меди шел быстро.

— К семи должен вернуть. Хочешь?

Дрисс представил долгий день в пустом городе.

— Да, — сказал он. — Стой здесь.

Он поспешил обратно в комнату, открыл шкаф и достал винтовку. Взял с полки свою трубку, *киф* и ломоть хлеба. Высунул голову за дверь. Во дворе — никого, только Меди сидит на стене напротив. Тогда Дрисс со старой винтовкой в руках подбежал к Меди. Тот взял ее и спустился по лестнице, оставив свое ружье на стене. Дрисс поднял его, секунду помедлил и тоже спустился.

1 Брат (*араб.*).

2 Братец (*араб.*).

Проходя мимо караульной будки, он услышал, как Меди тихо сказал:

— К семи гони десятку, *хойя*.

Дрисс хмыкнул. Он знал, как темно в будке. Ни один офицер не сунет нос за дверь по воскресеньям. «Десять риалов, — подумал Дрисс, — и никакого риска». Он посмотрел на коз среди камней. Солнце пекло, но воздух пах сладко, а спускаться по склону было приятно. Дрисс надвинул козырек пониже и принялся насвистывать. Вскоре он вышел на городскую окраину в низине, на другой стороне долины. На вершине утеса в парке на лавочках сидели люди — маленькие, но четкие и черные. Это испанцы ждали, когда зазвонит колокол их церкви.

Дрисс добрался до самого высокого пруда к тому часу, когда солнце стояло прямо над головой. Полежал на камнях, поел хлеба; солнце обжигало его. «Звери до трех не придут», — думал он. Потом надел брюки и отполз под олеандровые кусты поспать в тени. А когда проснулся, воздух стал прохладнее. Дрисс выкурил весь *киф* и пошел гулять по долине. Иногда он пел. Зайцев он не нашел, поэтому клал маленькие камушки на верхушки валунов и стрелял по ним. Затем поднялся на другой склон и по шоссе направился в город.

Дойдя до кафе, он зашел. Музыканты играли и пели. Люди пили чай и хлопали в такт. Один солдат крикнул:

— Дрисс! Садись к нам!

Он посидел с друзьями и покурил их *кифа*. Затем на четыре риала купил еще у резальщика, что сидел на сцене с музыкантами, и покурил снова.

— Сегодня в долине ничего не шевелилось, — сказал Дрисс. — Там было мертво.

Человек в желтом тюрбане, сидевший рядом, закрыл

глаза и навалился на своего соседа. Остальные передвинулись на другой край циновки. Человек перекатился и замер на полу.

— Еще один? — закричал Дрисс. — Не вылезали бы из своего Джебель-Хабиба. Противно смотреть.

На ноги человек поднялся нескоро. Его руки и ноги повиновались барабанному бою, но тело сопротивлялось, и он стонал. Дрисс старался не замечать его. Он курил трубку и смотрел на своих друзей, притворяясь, что перед ним не было никакого *джилала*. Когда человек вытащил нож, Дрисс больше не мог притворяться. Кровь затекала в глаза человека. Сплошной красной пеленой застилала глазницы. Человек открыл глаза шире, словно хотел видеть сквозь кровь. Барабаны гремели.

Дрисс поднялся, заплатил *кауаджи* за чай, попрощался с остальными и вышел. Скоро солнце скроется за вершинами. Дриссу захотелось от света закрыть глаза, потому что в голове было много *кифа*. Через весь город он прошел по дороге в гору и свернул на тропу к другой долине. Здесь никого не было. По краям тропинки торчали высокие кактусы, и между их колючками пауки создали свой мир сетей. Шел он быстро, и *киф* в его голове вскипел. Вскоре Дрисс очень проголодался, но плодов на кактусах уже не осталось. Он вышел к сельскому домику с соломенной крышей. Позади на пустом горном склоне росли еще кактусы, по-прежнему розовые от сотен *гиндият*. В сарае залаяла собака. Людей видно не было. Дрисс постоял и послушал собаку. Затем направился к кактусам. Он был уверен, что в доме никого нет. Много лет назад сестра показала ему, как срывать *гиндияты*, чтобы в ладони не впивались иголки. Он положил ружье под низкую каменную ограду и начал собирать плоды. А пока рвал их, видел перед собой

две слепые красные дыры глаз *джилала* и шепотом проклинал всех *джилали*. Набрав кучу фруктов, Дрисс присел и начал есть, а кожуру швырял через плечо. За едой он снова проголодался, так что набрал еще фруктов. Лицо, блестящее от крови, мало-помалу потускнело у него в голове. Дрисс думал только о *гиндиятах*, которые ел. Горный склон почти окутался мраком. Дрисс посмотрел на часы и вскочил — он вспомнил, что Меди должен получить свое ружье в семь. В потемках ружья нигде видно не было. Дрисс поискал за оградой, куда его вроде бы положил, но там были только камни и кусты.

— Исчезло, Аллах истир, — сказал он. Его сердце колотилось. Он выбежал на тропу и постоял там. Собака лаяла без умолку.

Стемнело, не успел он добраться до ворот казармы. В караульной будке стоял другой человек. *Кабран* ждал его в комнате. Старая винтовка, которую Дриссу дал отец, лежала на кровати.

— Знаешь, где Меди? — спросил его *кабран*.

— Нет, — ответил Дрисс.

— Он в темном карцере, блядский сын. И знаешь, почему?

Дрисс сел на кровать. «*Кабран* — мой друг», — думал он.

— Оно исчезло, — сказал он и объяснил, что положил ружье на землю, лаяла собака, никто не проходил рядом, и все-таки оно исчезло. — Может, собака и была джинном, — закончил он. Он не слишком верил, что собака к этому причастна, но не мог придумать ничего другого.

Кабран долго на него смотрел и ничего не говорил. Затем покачал головой.

— Думал, у тебя есть хоть немного мозгов, — произнес он наконец. Его лицо стало очень сердитым, и он выволок Дрисса во двор и велел солдату его запереть.

В десять вечера *кабран* отправился повидать Дрисса и обнаружил, что тот сидит в темноте и курит *себси*. Камера была полна дыма от *кифа*.

— Дрянь! — воскликнул *кабран* и забрал у него трубку и *киф*. — Скажи правду: ты продал ружье, верно?

— Клянусь головой матери, все именно так, как я сказал тебе! Там была только собака.

Кабран так и не смог ничего добиться. Захлопнул дверь и пошел в кафе на городской окраине выпить чаю. Он сидел, слушал музыку и курил *киф*, который отобрал у Дрисса. Если Дрисс говорит правду, тогда ружье Дрисса заставил потерять *киф* у него в голове, и его еще можно найти.

Кабран давно не курил. Пока *киф* наполнял голову, ему все больше хотелось есть, и он вспомнил, как в детстве курил *киф* с друзьями. После этого они всегда отправлялись за *гиндиятами*, потому что на вкус они были лучше всего и доставались даром. Все знали, где они растут. «*Куффа*, полная хороших *гинدياتов*», — подумал он. *Кабран* закрыл глаза и продолжал думать.

На следующее утро *кабран* вышел пораньше, забрался на скалу за казармами и тщательно оглядел долину и голый склон горы. Неподалеку он увидел тропу с кактусами по краям, а подальше — целый лес кактусов.

— Там, — сказал он себе.

Он прошел среди скал до тропы, а по ней добрался до сельского домика. Залаяла собака. В дверях показалась женщина, посмотрела на него. Не обращая на нее внимания, *кабран* направился к высоким кактусам на склоне за домом. Там было много *гинدياتов*, которые

можно было съесть, но собирать их *кабран* не стал. В его голове не было *кифа*, и он думал только о ружье. Рядом с каменной стеной лежала груда кожур. Кто-то съел очень много фруктов. И тут он увидел, как солнце бликует на стволе ружья под очистками.

— Ха! — закричал он, схватил ружье и тщательно протер носовым платком. На обратном пути к казармам ему стало так радостно, что он решил подшутить над Дриссом.

Он спрятал ружье под кроватью. Со стаканом чая и куском хлеба в руке он пошел повидать Дрисса. Тот спал на полу в темноте.

— День настал! — закричал *кабран*, засмеялся и пнул Дрисса по ноге, чтобы разбудить. Дрисс сел на полу и стал пить чай, а *кабран* стоял в дверях, почесывая подбородок. Он смотрел в пол, а не на Дрисса. А немного погодя спросил: — Прошлой ночью ты говорил, что лаяла собака?

Дрисс был уверен, что *кабран* хочет над ним посмеяться. Он пожалел, что упомянул собаку.

— Да, — неуверенно сказал он.

— Если виновата собака, — продолжил *кабран*, — я знаю, как вернуть ружье. Тебе придется мне помочь.

Дрисс поднял на него глаза. Он не мог поверить, что *кабран* говорит серьезно. Наконец тихонько произнес:

— Я сказал это в шутку. В моей голове был *киф*.

Кабран рассердился:

— Ты думаешь, это шутка — потерять ружье, которое принадлежит султану? Ты все-таки продал его! Сейчас в твоей голове нет *кифа*. Возможно, ты скажешь правду. — *Кабран* шагнул к Дриссу, и тот подумал, что он собирается его ударить. Дрисс быстро поднялся.

— Я сказал тебе правду, — ответил он. — Оно исчезло.

Кабран потер подбородок и вновь уставился в пол.
— Когда *джилали* снова начнут плясать в кафе, мы кое-что сделаем, — сказал он. Потом закрыл дверь и оставил Дрисса одного.

Через два дня *кабран* опять пришел в карцер. С ним был еще один солдат.

— Быстрее! — сказал он Дриссу. — Один пляшет.

Они вышли во двор, и Дрисс заморгал.

— Слушай, — сказал *кабран*, — когда *джилала* пьет свою кровь, к нему приходит сила. Ты должен сделать вот что: попроси его, чтобы он заставил джинна вернуть мне ружье. Я буду сидеть в своей комнате и жечь *джауи*. Может помочь.

— Я все сделаю, — согласился Дрисс. — Но ничего хорошего не выйдет.

Солдат отвел Дрисса в кафе. *Джилала* был высоким человеком с гор. Он уже вытащил нож и размахивал им в воздухе. Солдат усадил Дрисса рядом с музыкантами, и тот подождал, пока человек не начал слизывать кровь с рук. Тогда, испугавшись, что его стошнит, Дрисс простер правую руку в сторону *джилала* и негромко произнес:

— Именем Аллаха, *хойя*, заставь джинна, что украл ружье Меди, отнести его сейчас Азизу-кабрану.

Джилала, казалось, смотрел на него, но Дрисс не был уверен, слышал тот его слова или нет.

Солдат отвел его обратно в казарму. *Кабран* сидел под сливовым деревом у двери в кухню. Он велел солдату уйти и вскочил.

— Идем. — *Кабран* привел Дрисса к себе. В воздухе висел синий дым *джауи*. — Посмотри! — воскликнул он. Там было ружье. Дрисс подскочил и поднял его. Внимательно его осмотрев, он сказал:

— То самое ружье, — и голос его был полон страха.

Кабран знал, что поначалу Дрисс не был уверен, возможно ли это, но теперь сомнений у него не оставалось.

Кабран обрадовался, что Дрисса удалось так легко провести. Он засмеялся:

– Видишь, все получилось. Тебе повезло, что Меди просидит в карцере еще неделю.

Дрисс не ответил. Ему было даже хуже, чем когда *джилала* резал себе руки.

Той ночью он лежал в постели и беспокоился. Впервые в жизни он связался с джинном или *аффритом*. Теперь он вошел в их мир. Опасный мир, и *кабрану* он тоже больше не доверял. «Что же мне делать?» – думал он. Все вокруг него спали, но он не мог сомкнуть глаз. Вскоре Дрисс поднялся и вышел наружу. Листья деревьев *сафсаф* шипели на ветру. На другой стороне двора в окне горел свет. Там разговаривали офицеры. Дрисс медленно шел по саду и смотрел в небо, размышляя, как теперь изменится его жизнь. Подойдя к освещенному окну, он услышал взрыв хохота. *Кабран* рассказывал историю. Дрисс остановился и прислушался.

– И он сказал *джилала*: «Пожалуйста, *сиди*, попроси собаку, что украла мое ружье...»

Мужчины вновь рассмеялись, и звук перекрыл голос *кабрана*.

Дрисс быстро вернулся и забрался в постель. Знай они, что он услышал историю *кабрана*, смеялись бы еще больше. Дрисс лежал в постели, думал и чувствовал, как его сердце пропитывается ядом. Это *кабран* виноват, что пришлось вызывать джинна, а сейчас перед старшими по званию он делает вид, что не при чем. Позже *кабран* пришел и лег в постель, во дворе все стихло, но Дрисс еще долго лежал, размышляя, и лишь потом уснул.

В последующие дни *кабран* снова был дружелюбным, только Дриссу неприятно было видеть, как тот улыбается. Он думал с ненавистью: «Решил, что я боюсь его, раз он знает, как вызвать джинна. Теперь он со мной шутит, потому что сила на его стороне».

Дрисс не мог ни смеяться, ни радоваться, пока рядом был *кабран*. Каждую ночь он долго лежал без сна после того, как остальные засыпали. Он слушал ветер, шевеливший жесткие листья *сафсафа*, и думал лишь о том, как разрушить власть *кабрана*.

Меди вышел из карцера, ругаясь на *кабрана* почему зря. Дрисс заплатил ему десять риалов.

— Много денег за десять дней в темнице, — проворчал Меди, глядя на купюру в руке. Дрисс сделал вид, что не понял.

— Он сын шлюхи, — сказал он.

Меди фыркнул:

— А у тебя голова с игольное ушко, — сказал он. — Все из-за тебя. Ветер выдувает *киф* из твоих ушей!

— Думаешь, я не сидел в карцере? — воскликнул Дрисс. Но он не мог рассказать Меди о *джилала* и собаке и повторил: — Он сын шлюхи.

Глаза Меди сузились и похолодели:

— Я с ним разберусь. Пожалеет, что сам не в карцере, когда я закончу.

Меди отправился по своим делам. Дрисс стоял и смотрел, как он уходит.

В следующее воскресенье Дрисс встал рано и отправился в Бени-Мидар. На базаре было полно горцев в белых одеждах. Дрисс пробрался среди осликов и поднялся к прилавкам. Там подошел к старику, продававшему благовония и травы. Люди звали его Эль-Фких. Дрисс присел перед Эль-Фкихом и сказал:

— Мне нужно что-нибудь для сына шлюхи.

Эль-Фких недовольно посмотрел на него.

— Грех! — Он воздел указательный палец и погрозил им. — Грехами я не занимаюсь.

Дрисс ничего не сказал. Эль-Фких заговорил спокойнее:

— С другой стороны, говорят, что против каждой хвори на свете есть свое снадобье. Есть дешевые лекарства, а есть лекарства, что стоят много денег. — Он умолк.

Дрисс подождал.

— И сколько же стоит это? — спросил он.

Старику не понравилось — он хотел поговорить еще. Но он ответил:

— Я назову тебе имя за пять риалов. — Он сурово посмотрел на Дрисса, наклонился и прошептал ему на ухо имя. — В переулке за лесопилкой, — вслух сказал он, — синяя лачуга из жести, а сзади растет сахарный тростник.

Дрисс заплатил и сбежал вниз по ступенькам.

Он нашел дом. В дверях стояла старуха с клетчатой скатертью на голове. Глаза ее были белыми, как молоко. Дриссу они показались глазами старой собаки.

— Ты Аниса? — спросил он.

— Заходи в дом, — велела старуха.

Внутри было совсем темно. Дрисс сказал ей, что ему нужно такое, чем разрушить власть шлюхиного сына.

— Давай десять риалов, — ответила она. — На закате принесешь еще десять. Все будет готово.

После обеда Дрисс вышел во двор. Встретил Меди и предложил ему пойти в кафе в Бени-Мидар. Они прошли по городу под жарким полуденным солнцем. Было еще рано, когда они добрались до кафе, и на циновках

хватало места. Они сели в темный угол. Дрисс достал свой *киф* и *себси*, и они закурили. Когда музыканты заиграли, Меди сказал:

— Цирк вернулся! — но Дрисс не хотел говорить о *джилала*. Он говорил о *каброне*. Он много раз давал Меди трубку и смотрел, как тот, накурившись, сердится на *каброна* все сильнее. Он не удивился, когда Меди воскликнул:

— Я с ним разберусь сегодня вечером!

— Нет, *хойя*, — сказал Дрисс. — Ты не знаешь. Он высоко поднялся. Он теперь друг всех офицеров. Они приносят ему бутылки вина.

— Спустится, — сказал Меди. — Сегодня вечером перед ужином. Во дворе. Приходи и увидишь.

Дрисс отдал ему трубку и заплатил за чай. Он оставил Меди в кафе и вышел на улицу походить взад-вперед, потому что больше сидеть не хотелось. Когда небо за горой покраснело, он отправился в переулок у лесопилки. Старуха стояла в дверях.

— Входи, — сказала она, как прежде. В комнате она дала ему бумажный пакетик. — Он должен проглотить всё. — Она взяла деньги и дернула его за рукав: — Я тебя никогда не видела. Прощай.

Дрисс пошел к себе в комнату и послушал радио. Когда подошло время ужина, он остался в дверях и принялся наблюдать. Ему показалось, что Меди сидит в тени на другом конце двора, но уверен он не был. По двору ходило много солдат, ожидавших ужина. Вскоре где-то на лестнице раздались крики. Солдаты побежали на другую сторону двора. Дрисс выглянул из дверей, но увидел только бегущих солдат. Он обернулся к людям в комнате:

— Там что-то стряслось! — Все выбежали. Тогда

с пакетиком порошка в руке он вернулся к постели *кабрана* и достал бутылку вина, которую тому дал один из офицеров накануне. Из нее почти не пили. Дрисс вытащил пробку, высыпал порошок, встряхнул бутылку и вставил пробку обратно. Во дворе кричали по-прежнему. Он выбежал наружу. Подойдя к толпе, он увидел, как три солдата волокут Меди по земле. Тот лягся. *Кабран* сидел на стене, опустив голову и поддерживая руку. Его лицо и рубашка были в крови.

Прошло почти полчаса, прежде чем *кабран* пришел на ужин. Его лицо было в синяках, забинтованная рука висела на перевязи. Меди порезал ее ножом в последнюю минуту, когда солдаты принялись их разнимать. *Кабран* был немногословен, и люди не пытались с ним заговорить. Он сидел на своей постели и ел. За едой выпил все вино в бутылке.

Той ночью *кабран* стонал во сне. Между гор дул сухой ветер. Он сильно шумел в дереве *сафсаф* за окном. Воздух ревел, листья трещали, но Дрисс все равно слышал крики *кабрана*. Утром взглянуть на него пришел врач. Глаза *кабрана* были открыты, только он не мог видеть. И рот его был открыт, только он не мог говорить. Его вынесли из комнаты, где жили солдаты, и положили куда-то в другое место. «Может, теперь власть разрушена», — думал Дрисс.

Спустя несколько дней к казармам подъехал грузовик, и Дрисс увидел, как два человека несут к нему *кабрана* на носилках. Лишь тогда он уверился, что душа *кабрана* оторвалась от тела, и власть разрушилась по-настоящему. В голове Дрисс произнес благодарственную молитву Аллаху. С другими солдатами он стоял на скале над казармами и смотрел, как грузовик, спускаясь по склону, уменьшается.

— Не повезло мне, — сказал он стоявшему рядом. —
Он всегда привозил мне еду из дома.
Солдат покачал головой.

1962

САД

Человек, живший в далеком городке южной страны, работал у себя в саду. Поскольку он был беден, участок его располагался на самом краю оазиса. Весь день человек копал канавы, а когда день закончился, отправился в верхний конец сада и открыл ворота, которые сдерживали воду. Вода побежала по канавам к грядкам ячменя и молодым гранатовым деревьям. Небо стало красным, и когда человек увидел, что земля его сада засияла, словно самоцветы, он сел на камень и начал на нее смотреть. Земля у него на глазах разгоралась все ярче, и он подумал: «Нет в оазисе сада прекраснее».

Огромное счастье наполнило его — он сидел в саду очень долго и вернулся домой поздно. Когда он вошел в дом, жена посмотрела на него и увидела радость в его глазах.

«Он нашел клад», — подумала она, но ничего не сказала.

Когда они лицом к лицу сели за вечернюю трапезу, человек еще вспоминал свой сад, и ему казалось, что теперь, когда он познал такое счастье, оно останется с ним навсегда. Ел он молча.

Жена тоже молчала. «Он думает о своем кладе», — сказала она себе. И рассердилась, решив, что человек не желает поделиться с нею этой тайной. На следующее утро она отправилась к одной старухе и купила у нее много трав и порошков. Она принесла их домой и несколько дней смешивала и готовила, пока не получилось нужное снадобье. И потом всякий раз за едой она подсыпала немного *цёхёфа* мужу в пищу.

Прошло совсем немного времени, и человек занемог. Он еще ходил каждый день работать в свой сад,

но часто, добравшись, оказывался так слаб, что мог только сидеть под пальмой, опираясь на ствол. В ушах у него стоял резкий звон, он не успевал следить за мыслями, что носились у него в голове. Несмотря на это, каждый вечер, когда заходило солнце, и он видел, как сад сияет красным под его лучами, он был счастлив. И когда приходил ночью домой, жена видела в его глазах все ту же радость.

«Он пересчитывал свои сокровища», — думала она. Она тайком начала ходить за ним в сад и следить из-за деревьев. Когда же увидела, что он просто сидит и смотрит на землю, то опять пошла к старухе и рассказала ей об этом.

— Ты должна побыстрее развязать ему язык, пока он не забыл, где спрятал сокровище, — сказала старуха.

В тот вечер жена положила в еду человеку много *цёхёра*, и когда они потом пили чай, говорила много ласковых слов. Человек же только улыбался. Долго пыталась она разговорить его, но он лишь пожимал плечами да отмахивался.

На следующее утро, пока человек еще спал, она снова сходила к старухе и сказала, что он больше не может говорить.

— Ты дала ему слишком много, — сказала старуха. — Теперь он никогда не расскажет тебе своей тайны. Тебе остается только одно — быстро убежать, пока он не умер.

Женщина бросилась домой. Ее муж лежал на циновке, и рот его был приоткрыт. Жена собрала свою одежду и в то же утро покинула город.

Три дня человек пролежал в глубоком забытии. Когда он пришел в себя на четвертый, ему показалось, что он побывал на другом краю света. Ему очень хотелось

есть, но в доме нашлась лишь сухая корка. Пожевав ее, он дошел до своего сада на краю оазиса и набрал фиг. Потом сел и съел их все. О жене он даже не подумал — он совсем забыл свою жену. Когда мимо проходил сосед и окликнул его, он ответил вежливо, точно разговаривал с чужаком, и сосед ушел озадаченный.

Мало-помалу здоровье возвращалось к человеку. Каждый день он работал в саду. Когда спускались сумерки, возвращался домой, посмотрев на закат и на красную воду, готовил себе ужин и ложился спать. Друзей у него не было: хотя люди с ним заговаривали, он их не узнавал и лишь улыбался и кивал им. Потом горожане стали замечать, что человек больше не ходит молиться в мечеть. Начались пересуды, и как-то вечером к человеку домой пришел имам — поговорить.

Пока они сидели, имам прислушивался, не ходит ли где-нибудь по дому жена человека. Из вежливости он не мог спросить, но думал о ней и недоумевал, куда она делась. Из дома человека он ушел в сомнениях.

Человек же продолжать жить своей жизнью. Однако горожане только о нем и судачили. Они шептались, что человек убил жену, и многие предлагали собраться и обыскать его дом, чтобы обнаружить останки. Имам был против: он лучше сходит и снова поговорит с человеком. На этот раз он дошел до самого сада на краю оазиса, и увидел, что человек, довольный, работает там среди растений и деревьев. Имам понаблюдал за ним какое-то время, затем подошел ближе и перекинулся с ним парой слов.

День клонился к вечеру. Солнце уже закатывалось

на западе, и вода на земле начала краснеть. Наконец, человек сказал имаму:

— Сад очень красивый.

— Красивый он или не красивый, — ответил имам, — ты должен благодарить Аллаха за то, что позволил тебе его иметь.

— Аллаха? — удивился человек. — Кто это? Я о нем никогда не слыхал. Я сам вырастил этот сад. Я выкопал каждую канаву и посадил здесь каждое дерево, и мне никто не помогал. Я ничего никому не должен.

Имам побледнел. Он простер руку и очень сильно ударил человека по лицу. А потом быстро вышел прочь из сада.

Человек остался стоять, держась ладонью за щеку.

«Он обезумел», — решил он, когда имам ушел.

В тот же вечер в мечети собрались люди. Между собой они решили, что человеку больше не место в их городе. С утра пораньше большая толпа мужчин с имамом во главе пришла в оазис и направилась к саду человека.

Впереди бежали мальчишки — они попали в сад гораздо раньше. Мальчишки рассыпались по кустам и, пока человек работал, начали бросать в него камни и оскорблять его. Тот не обращал на них внимания. Потом один камень ударил ему в затылок. Человек бросился на обидчиков. Когда те убежали, один споткнулся, и человек поймал его. Он хотел удержать мальчишку и спросить: «Зачем вы бросаете в меня камни?» Но мальчишка только визжал и вырывался.

А горожане, уже подходившие к саду, услышали крики и бросились вперед. Они оттащили мальчишку и принялись избивать человека мотыгами

и серпами. Уничтожив его, они бросили тело головой в канаву, а сами направились в город, вознося Аллаху хвалы, что мальчик невредим.

Деревья понемногу умерли, и сад вскоре исчез. Осталась одна пустыня.

1963

ВРЕМЯ ДРУЖБЫ

С тех пор как война кончилась, беспорядки только усиливались каждый год. Фрейлейн Виндлинг знала, что они есть, но с самого начала решила не обращать на них внимания. На первых порах были только слухи о массовых арестах. Люди говорили: «Тысячи мусульман отправлены во Франции в тюрьму». Вскоре начали исчезать ее друзья, такие как юный Башир и Омар бен Лахдар, почтмейстер из Тимимуна, которые однажды утром внезапно испарились — во всяком случае, ей так сказали; когда она вернулась следующей зимой, их не было, и она никогда их больше не видела. Люди просто делали вид, будто не понимают, когда она заговаривала об этом. После того, как военные действия разгорелись не на шутку, добраться через беспокойную область до ее оазиса еще было можно, хотя националисты несколько раз пускали под откос поезда и срывали транссахарские грузовые перевозки. Там, на юге, сражения были далеко, а после долгой поездки по безлюдной пустыне казались еще дальше, словно за морем. Если бы люди ее оазиса заразились вирусом недовольства с далекого севера, — а ей это представлялось почти невыносимым, — тогда фрейлейн Виндлинг оставалось только пожелать им победы, хотя она была уверена: война принесет им одни невзгоды. Они бы сражались за собственную землю, жертвовали своими жизнями ради победы. Между тем, люди помалкивали; жизнь была трудной, но мирной. Все знали о войне, идущей на севере, и все были довольны, что она далеко.

Летом фрейлейн Виндлинг преподавала в Фрайлюфтшюле в Берне и развлекала учеников рассказами о

том, как живут люди в большой африканской пустыне. В ее деревне, рассказывала фрейлейн Виндлинг, люди все делают своими руками из того, что предлагает пустыня. Они живут в мире вещей, созданных из обожженной земли, плетеной травы, пальмовой древесины и шкур животных. Никакого металла. Хотя она не сознавалась детям, это было не совсем так: в последнее время женщины стали носить воду в пустых канистрах из-под масла, а не в бурдюках из козлиной кожи, как прежде. Она пробовала отговорить своих деревенских подруг от этого новшества, объясняя, что канистры могут отравить воду; женщины согласились, но по-прежнему ими пользовались. «Это от лени, — решила она. — Канистры легче носить».

Когда заходило солнце, а из оазиса к гостинице поднимался прохладный воздух с горчинкой древесного дыма, она вдыхала его в комнате и бросала все, чем бы ни занималась. Надев бурнус, она поднималась по лесенке на крышу. Там лежало одеяло, на котором она принимала солнечные ванны по утрам; фрейлейн Виндлинг растягивалась на нем, сохранившем жар ушедшего солнца, и глядела на закатное небо. Одной из радостей дня было смотреть, как свет меняет оазис внизу, когда сумерки и дым от вечерних костров постепенно обволакивают долину. Всегда наступал тот миг, когда оставался лишь размытый контур, ровный и точный, скопление глинобитных призм, образующих деревню, и группа высоких финиковых пальм у входа в нее. Вот уже скрывались из вида дома, мало-помалу исчезала высочайшая пальма, и, если не появлялась луна, оставалось лишь угасающее небо, острые края камней в *хаммаде*¹ и простор тумана, что стелился по долине, но не добирался по скалам к гостинице.

¹ Каменистый участок в пустыне, откуда ветром сдуло песок.

Раза два каждую зиму деревенские женщины приглашали фрейлейн Виндлинг поискать с ними растопку среди безбрежных барханов. Свет слепил нестерпимо. Ни одной веточки или стебелька на песке, и все-таки женщины, бредущие босиком вдоль хребтов, определяли места, где прятались корни, наклонялись, обнажали их и выкапывали.

— Ветер оставляет знак, — говорили ей женщины, но она не понимала, как определить этот знак и что общего у невидимых корней в песке и ветра. «У них сохранилось то, что мы потеряли», — думала она.

Увидев пустыню и ее людей, она преобразилась; сейчас ей казалось, что до приезда сюда она совсем не соприкасалась с жизнью. Фрейлейн Виндлинг твердо верила, что каждый прожитый здесь день укрепляет ее стойкость. Ее восхищало грубое здоровье местных жителей; ее собственное было таким же крепким, но ей казалось, что ее тело, в сущности, хуже, раз она белая и образованная.

Всю работу в гостинице делал тихий человек с печальным лицом по имени Буфельджа. Он работал здесь, когда фрейлейн Виндлинг впервые приехала много лет назад, и теперь казался ей такой же частью пейзажа, как холмы за долиной. После обеда она часто сидела за столом у камина, в одиночестве раскладывая карты, пока поленья не переставали давать тепло. В отеле столовались два молоденьких французских солдата из соседнего форта. За обедом они пили много вина, и ее раздражало, что их лица постепенно краснели. Поначалу солдаты прикасались к своим кепи, прощаясь с ней, и, подавляя смех, говорили: «*Bonjour, madame*», но потом перестали. Фрейлейн Виндлинг радовалась, когда они уходили, и наслаждалась тем, как умирает

огонь, пока он еще алел, раздуваемый ветром, врывающимся в широкий дымоход.

Ветер почти всегда налетал в начале дня — ровный, мощный, он ревел в тысячах пальм оазиса внизу и завывал под каждой дверью в гостинице, заглушая далекий шум деревни. В этот час фрейлейн Виндлинг раскладывала пасьянс или просто сидела, глядя на сгоревшие поленья, которые рассыпались перед ее взором. Потом выходила на террасу — высокую, светлую, точно палуба огромного корабля, плывущего сквозь день пустыни, — и спешила в свою комнату, чтобы взять свитер и трость и отправиться на прогулку. Иногда она шла на юг, держась реки, вдоль подножия безмолвных утесов и по изогнутым теснинам к заброшенной деревне на самом солнцепеке прямо на повороте в ущелье. Отвесные стены за деревней отбрасывали жар, и воздух, попадавший фрейлейн Виндлинг в горло, обжигал. Иногда она шла еще дальше — туда, где в скалах были пещеры с высеченными в камне животными и символами.

Возвращаясь по дороге в деревню, укрытой зеленой тенью самой гущи пальм, фрейлейн Виндлинг всегда замечала компанию мальчишек, сидевших на повороте — там, где дорога поднималась на холм к лавкам и деревне. Они сидели на корточках, тихонько беседуя, на песке за перистыми ветками гигантского тамариска. Подходя к ним, она здоровалась, и они всегда откликались, на секунду замолкали, пока она проходила, а потом снова начинали говорить. Судя по всему, о ней мальчишки не упоминали ни словом, и все-таки в этом году ей порой казалось, что когда она проходила мимо, их голоса чуточку менялись, словно бы переходили в другую тональность.

Уж не посмеиваются ли над ней? Этого она не знала, но поскольку мысль появилась впервые за все годы, проведенные в пустыне, фрейлейн Виндлинг решительно выкинула ее из головы. «К новому поколению нужен новый подход, если хочешь установить с ним контакт, — думала она. — Вот я и должна его найти». Тем не менее, она жалела, что не было другого способа попасть в деревню, кроме главной дороги, где неизменно собирались мальчишки. Легкая неловкость от того, что ей приходится идти мимо, омрачала удовольствие от прогулок.

Однажды, неожиданно пожившись от стыда, она осознала, что даже не представляет, как мальчишки выглядят. Она видела их лишь всех вместе, издалека, а когда подходила достаточно близко, чтобы сказать «добрый день», всегда опускала голову и смотрела себе под ноги. Эту боязнь надо было побороть; теперь, приближаясь, она смотрела каждому в глаза, внимательно. Серьезно кивала и шла дальше. «Да, нахальные лица, — думала она, — совсем не похожи на старших». Их вынужденная вежливость была отъявленным притворством. Но ей казалось важным то, что она победила: ее больше не заботило, что ежедневно нужно проходить мимо. Постепенно она даже стала узнавать каждого мальчишку.

Она заметила, что там был один помладше остальных — он всегда сидел чуть в сторонке; однажды утром, когда она вошла на гостиничную кухню, этот тихоня разговаривал с Буфельджей. Она сделала вид, что не заметила его.

— Иду в свою комнату на часок, мне нужно поработать на машинке, — сказала она Буфельдже. — Можешь потом зайти прибраться. — И повернулась к выходу.

В дверях она взглянула на лицо мальчишки. Он смотрел на нее и не отвернулся, когда их глаза встретились. — Как дела? — спросила она.

Спустя, наверное, полчаса, печатая второе письмо, она подняла голову. Мальчишка стоял на террасе — глядел на нее сквозь открытую дверь. Он щурился, потому что дул сильный ветер; за головой его клонились верхушки пальм.

«Хочет смотреть — пусть смотрит», — сказала она себе, решив не обращать на него внимания. Через какое-то время он ушел. Когда Буфельджа подавал ей обед, она спросила его о мальчике.

— Совсем как старик, — сказал Буфельджа. — Двенадцать лет, но очень серьезный. Будто очень, очень старый человек. — Он улыбнулся, затем пожал плечами. — Таким его задумал бог.

— Конечно, — ответила она, припомнив настороженное, грустное лицо мальчика. «Щенок, которого все шпыняли, — подумала она, — но он не сдался».

Теперь он стал часто приходиться на террасу и наблюдать за ней, когда она печатала. Время от времени она махала ему или говорила: «Доброе утро». Не отвечая, он отступал на шаг, исчезая из поля зрения. Затем опять возвращался на то же место. Его поведение раздражало ее, и однажды, когда он сделал так, она быстро встала и подошла к двери.

— В чем дело? — спросила она его, стараясь улыбаться.

— Я ничего не сделал. — Он укоризненно взглянул на нее.

— Я знаю, — ответила она. — Может, войдешь?

Мальчик быстро оглядел террасу, словно ища поддержки, затем склонил голову и переступил порог. И выжидающе застыл, жалко понурившись. Она достала из чемодана пакетик карамелек и протянула ему

одну. После этого задала несколько простых вопросов и выяснила, что по-французски он говорит гораздо лучше, чем она предполагала.

— Все мальчики так хорошо говорят по-французски? — спросила она.

— Non, madame, — медленно покачал головой он. — Мой отец был солдатом. Солдаты хорошо говорят по-французски.

Фрейлейн Виндлинг постаралась, чтобы на ее лице не отразилось неодобрение: она презирала все военное.

— Понятно. — Голос ее прозвучал строго; она вернулась к столу и стала перебирать бумаги. — Сейчас мне надо работать, — сказала она ему, тут же добавив чуть теплее: — Но возвращайся завтра, если хочешь.

Он чуть помедлил, все так же тоскливо на нее глядя. Потом тихонько улыбнулся и положил фантик от конфеты, сложенный крошечным квадратиком, на край стола.

— Au revoir, madame, — сказал он и вышел. В тишине она услышала, как его голые пятки тихонько стучат по земляному полу террасы. «На таком холоде, — подумала она. — Бедное дитя! Может, надо будет купить ему сандалии.»

С тех пор каждый день, когда солнце уже стояло высоко и насыщало неподвижный утренний воздух, мальчик подкрадывался по террасе к ее двери, на несколько секунд замирал и говорил потерянным голосом, который казался еще более робким и тихим в великой тиши снаружи: «Bonjour, madame». Фрейлейн Виндлинг приглашала его внутрь, они серьезно пожимали руки, после чего мальчик подносил свои пальцы тыльной стороной к губам, всегда с одинаковой медленной церемонностью. Иногда, опасаясь, что он втайне

посмеивается над ней, выполняя этот ритуал, она всматривалась в его лицо, но видела лишь пугающе убедительную преданность и быстро отводила взгляд. Фрейлейн Виндлинг всегда хранила немного хлеба или печенье в ящике гардероба; когда она доставала еду, и мальчик ел, она расспрашивала, что нового в семьях его соседей. Чтобы как-то дисциплинировать его, она предлагала ему конфету через день. Мальчик сидел на полу у входа на рваном старом одеяле из верблюжьей шерсти и постоянно за ней наблюдал, не отводя глаз.

Ее интересовало, как его зовут, но она знала, что в деревне скрывают настоящие имена и редко сообщают их чужакам; этот обычай она уважала, поскольку его корни уходили в их доисторическую религию. Поэтому старалась не спрашивать, полагая, что со временем он начнет доверять ей и скажет сам. И этот момент наступил как-то утром, неожиданно, когда он рассказывал ей легенды о жившем давным-давно великом мусульманском царе Соломоне. Вдруг мальчик замолчал, а потом, заставив себя смотреть на нее, не мигая, произнес:

— Меня тоже зовут Слимман, точно как царя.

Она пыталась научить его читать, но он, похоже, к такому был не способен. Порой, когда ей казалось, что он уже готов связать представления воедино и даже, быть может, установить контакт и понять принцип, на его лице появлялись покорность и пассивность, он сознательно переставал стараться и лишь смотрел на нее, покачивая головой, чтобы показать: все бесполезно. В такие моменты трудно было не потерять терпение.

На следующий год она решила не продолжать уроки, а предложить Слимману стать ее гидом, носильщиком и провожатым, и сразу поняла, что это подходит ему

больше, чем роль ученика. Ему не было в тягость долго идти или нести тяжелую поклажу; напротив, долгий поход становился для него событием, и что бы фрейлейн Виндлинг ни нагрозила на него, он шел с таким видом, словно удостоился чести. Вероятно, это было для нее самым счастливым временем в пустыне — та зима товарищества, когда они пускались в бесчисленные прогулки по долине. Шли недели, походы устраивались все чаще, а выступали в путь они все раньше, в конце концов — сразу после завтрака. Весь день, бродя под палящим солнцем и в редкой тени прерывистой бахромы пальм вдоль реки, фрейлейн Виндлинг оживленно разговаривала со Слиманом. Иногда она замечала, что мальчик готов поведать ей, что у него на уме, и позволяла ему говорить, пока у него хватало запала, под конец раздражая его тщательно подобранными вопросами. Но обычно, шагая позади, говорила она сама. Постукивая тростью со стальным наконечником всякий раз, когда на каменистую землю опускалась ее правая нога, фрейлейн Виндлинг подробно рассказывала ему о жизни Гитлера, объясняя, почему его так ненавидят христиане. Ей это казалось необходимым, поскольку Слиман был убежден, что европейцы так же ценят своего исчезнувшего вождя, как он сам и прочие жители деревни. Довольно много она говорила о Швейцарии, рассказывала истории из жизни своих соотечественников, как бы невзначай подчеркивая их чистоплотность, честность и хорошее здоровье. Она поведала ему об Иисусе, Мартине Лютере и Гарибальди, стараясь, чтобы Иисуса не приняли за мусульманского пророка Сидну-Аиссу, потому что даже чтобы убедить Слимана, она ни на секунду не могла согласиться с исламской доктриной, согласно которой Спаситель был мусульманином.

Уважительное отношение Слимана к ней — чуть ли не на грани обожания — было неизменным, разве что фрейлейн Виндлинг неосторожно затрагивала тему ислама; в таком случае, что бы ни сказала она (ибо тогда казалось, что он мгновенно переставал ее слышать), Слиман начинал безостановочно трясти головой и выкрикивать:

— Нет, нет, нет, нет! Назареи ничего не смыслят в исламе. Замолчите, мадам, умоляю вас, потому что вы не знаете, что говорите. Нет, нет, нет!

Она давным-давно выполнила данное себе обещание и купила ему сандалии; за этим приобретением последовали другие. Несколько раз она покупала ему в лавке Бенаиссы рубашки, мешковатые черные шаровары вроде тех, что носили чаамбские погонщики верблюдов, и наконец — новый белый бурнус, хоть и знала, что вся деревня будет судачить о столь ценном подарке. Понимала она и то, что лишь из-за этих подарков отец Слимана еще не запретил ему проводить с ней время. Да и так, по рассказам Слимана, он иногда возражал. Но сам Слиман ничего не хотел, ничего не ждал — в этом она не сомневалась.

Каждый год, когда март подходил к концу, дни становились мучительно жаркими и даже ночью не было ветра; в эту пору она посвящала два-три дня стирке и подготовке к путешествию, хотя на то, чтобы решиться восстановить контакт с внешним миром, всегда требовалось сильнейшее усилие воли. Когда наступила неделя отъезда, она сходила в форт и позвонила хозяину кафе в Керзазе, чтобы тот попросил водителя направляющегося на север грузовика сделать крюк и подхватить ее в трех километрах от деревни.

К вечеру они со Слиманом вернулись в гостиницу из последней прогулки по долине; фрейлейн Виндлинг встала на террасе, оглядывая оранжевые горы песка за фортом. Слиман занес поклажу в комнату. Обернувшись, она сказала:

— Принеси большую жестянку.

Он достал ее из-под кровати, принес, стирая с нее пыль рукавом рубашки, и фрейлейн Виндлинг повела его на крышу по лесенке. Они сели на одеяло; зарево от горнила закатившегося солнца грело им лица. Вокруг еще роились мухи — то и дело они набрасывались на их шеи. Слиман передал ей коробку, и она дала ему горсть печенья в шоколаде.

— Так много сразу?

— Да, — ответила она. — Понимаешь, мне нужно ехать домой через четыре дня.

Он на миг посмотрел вниз, на одеяло, и лишь потом ответил.

— Знаю, — прошептал он. И вновь замолчал. Затем вскричал обиженно: — Буфельджа говорит, что летом здесь жарко. Здесь не жарко! У нас дома прохладно. Это как оазис с большим озером. Там вам никогда не будет жарко.

— Мне надо зарабатывать деньги. Ты же знаешь. Я хочу вернуться на следующий год.

Он печально произнес:

— На следующий год, мадам! Лишь Мулане¹ известно, каков будет следующий год.

Заворчали верблюды, перекатываясь на песке у подножия форта; свет отступал быстро.

— Ешь печенье, — сказала она ему, и сама съела

¹ Всевышний (*араб.*).

одно: — В следующем году мы пойдем в Абадлу с *каидом*, иншалла.

Он глубоко вздохнул.

— Ах, мадам!

Она отметила, сперва с уколом сочувствия, а затем, поразмыслив, с неодобрением, что в его голосе звучит мука, придающая ему необычную силу. Это ей нравилось в нем меньше всего: слегка театральная жалость к себе.

— На следующий год ты станешь мужчиной, — произнесла она твердо. Ее голос дрогнул, когда она спросила с надеждой: — Ты не забудешь, о чем мы говорили?

Она отправила ему открытку из Марсея и показала своим ученикам фотографии, на которых они запечатлели друг друга и *каиду*. Детей поразило, что у *каиды* такой огромный тюрбан.

— Он бедуин? — спросили они.

Выйдя из консульства, она поняла, что в этом году возвращается в пустыню в последний раз. Дело было не только в явной неприветливости и подозрительности чиновника: он впервые заставил ее ответить на ряд вопросов, которые ее насторожили. Он хотел узнать, что она преподает в Фрайлюфтшюле, занималась ли когда-либо журналистикой и где именно намерена находиться по прибытии в Сахару. Фрейлейн Виндлинг чуть было не отрезала: «Я иду, куда хочу. Я не строю планов». Но просто назвала оазис. Она знала, что пожилых швейцарских дам в шерстяных чулках французы не уважают, и от этого последние казались ей еще ничтожнее. Однако именно они заправляли Сахарой.

Когда корабль вошел в африканский порт, шел дождь. Она знала, что впереди в сумраке лежат серые, ступенчатые холмы города, но они были невидимы.

Рваная европейская одежда докеров промокла насквозь. Залитый дождем город показался ей мрачным, а люди на улицах несчастными. Перемена, даже по сравнению с прошлым годом, была огромной; ей было грустно сидеть в большом, холодном кафе, где она решила выпить кофе после ужина, поэтому она вернулась в гостиницу и легла спать. Утром она села на поезд до Перрего. Почти весь день шел дождь. В Перрего она сняла номер в привокзальной гостинице и осталась там, слушая, как ливень грохочет по водостоку рядом с окном. «Это место сошло бы за подходящий образчик ада, — написала она подруге в Базель перед тем, как лечь спать. — Яркое выраженный пример социального вырождения, достигнутого насильственной гибридизацией культур. Массы унижены и озлоблены десятилетиями безжалостной эксплуатации. Завтра утром я сажусь на узкоколейку на юг, в счастливые края, и верю, что в один прекрасный миг появится мой дружок-солнце. Seien Sie herzlich gegrüsst von Ihrer Maria»¹.

Состав полз на юг по плоскогорью, тучи остались позади, в округе воцарилось солнце. Фрейлейн Виндлинг настороженно сидела у мутного окошка, погружившись в растущую печаль. Пока шел дождь, ей казалось, что именно в нем причина ее депрессии: серый, облачный свет придавал пейзажу непривычное значение, меняя формы и расстояния. Сейчас она понимала, что чем ближе и узнаваемей станут очертания пустыни, тем яснее будет, что находиться ей здесь незачем, ведь она приехала в последний раз.

Спустя два дня, когда грузовик ее высадил, она увидела Буфельджу: он стоял на солнце рядом с валунами,

¹ Теплый привет от вашей Марии (нем.).

махая ей рукой; он взял с собой одного из деревенских, чтобы отнести багаж. Как только грузовик уехал и облако желтой пыли развеялось по *хаммаде*, все погрузилось в тишину; казалось, не бывает ничего громче хруста земли под их ногами.

— Как Слиман? — спросила она.

Буфельджа ответил уклончиво:

— У него все в порядке. Говорят, пытался сбежать. Но далеко не ушел.

Известие могло быть правдивым, а могло и не быть; так или иначе, она решила не упоминать об этом, если первым не заговорит сам Слиман.

Нелепо, но ей стало легче, когда они подошли к краю утесов и она увидела деревню на той стороне долины. Лишь обойдя всех друзей, расспросив об их заботах и оставив где таблеток, а где конфет, она убедилась, что, пока ее не было, в оазисе ничего важного не произошло. Она зашла в дом родителей Слимана: мальчика не было.

— Передайте ему, чтобы зашел ко мне, — напоследок попросила она его отца.

Слиман объявился утром на третий день: улыбаясь, он встал в дверях. Она поздоровалась с ним, усадила, предложила кофе и засыпала вопросами о том, что происходило в деревне, пока она была в Европе. Некоторые друзья подались в патриоты, ответил он, и убивают французов, как мух. Сердце у нее оборвалось, но она ничего не сказала. Слиман улыбался, и она смогла поддаться накотившей радости от того, что он близко; ей удалось доказать, что с молодежью можно по-настоящему подружиться. Но даже говоря: «Как я рада видеть тебя, Слиман», фрейлейн Виндлинг не забывала, что время, которое они проведут вместе, ограничено, и горечь

промелькнула на ее лице, когда она заканчивала фразу. «Не скажу ему об этом ни слова», — решила она. Если у него останется, хотя бы, иллюзия безграничного времени впереди, ему как-то удастся сберечь чистоту и невинность, и ей будет с ним не так мучительно.

Однажды они спустились в долину повидать *кайда* и заговорили о давно запланированном путешествии в Абадлу. В другой раз отправились на рассвете — посмотреть на гробницу Мулая Али Бен-Саида, где бил горячий источник. Это был клочок оазиса у самой гряды высоких барханов; вокруг развалин гробницы росло полсотни пальм. В тени скал, под стенами, в остатки купели, исходя паром, сочилась вода. Они расстелили одеяла на песке неподалеку, у маленького тамариска, и вынули провизию. Перед едой выпили по пригоршне воды, которая, как сказал Слиман, славилась своей святостью. Пальмы стучали и шипели на ветру у них над головами.

— Аллах послал нам ветер, чтобы остудить нас, пока мы едим, — сказал Слиман, покончив с хлебом и финиками.

— Ветер всегда был, — ответила она бездумно. — И всегда будет.

Слиман выпрямился.

— Нет, нет! — вскричал он. — Когда Сидна-Аисса вернется на сорок дней, мусульман больше не будет и мир закончится. Всё — небо, и солнце, и луна. И ветер тоже. Всё. — Он посмотрел на нее с таким довольством, что на нее снова накатила былая злость.

— Понятно, — сказала она. — Постой минутку у источника. Хочу тебя сфотографировать. — Она никогда не понимала, почему мусульмане признали за Иисусом даже эту пиррову победу, коду всего мироздания: такая непоследовательность ее озадачивала. Она смотрела,

как за обветшалой купелью Слиман принимает обычный чопорный вид человека, которого собираются снимать, и ей в голову пришла мысль. В канун Рождества, до которого оставалось две недели, она сделает рождественский вертеп. Пригласит Слимана поужинать с ней у камина, а в полночь отведет его посмотреть.

Она закончила фотографировать Слимана; собрали поклажу и, борясь с жарким вечерним ветром, направились к деревне. Иногда мимо проносился песок, жаля лица незримой бахромой. На этот раз фрейлейн Виндлинг шла впереди, и они шагали быстро. Несколько раз на обратном пути по каменистому эргу она представляла ясли, озаренные свечами, и ей становилось невыразимо грустно: грусть явно была связана с тем, что все заканчивается. Они дошли до того места к северу от деревни, где пустой эрг пересекала извилистая речная долина. Медленно карабкаясь вверх по мелкому песку, фрейлейн Виндлинг вдруг поймала себя на том, что шепчет: «Это и нужно сделать». «*Нужно* — неподходящее слово», — подумала она, но правильное найти не удалось. Она решила сделать рождественский вертеп, потому что любила Рождество и хотела провести его со Слиманом. Они добрались до гостиницы после заката, Слимана она отправила домой, а сама села и набросала проект на бумаге.

Только взявшись мастерить вертеп, фрейлейн Виндлинг поняла, как это трудно. Рано утром она попросила Буфельджу подыскать старый деревянный ящик. Не проработав и полчаса, она услышала на кухне голос Слимана, быстро затолкала все под кровать и вышла на террасу.

— Слиман, — сказала она, — я очень занята. Приходи после обеда.

Днем она сказала ему, что теперь по утрам до праздника младенца Иисуса будет работать, поэтому долгих походов пока не будет. Новость его огорчила.

— Я знаю, — сказал он, — вы готовитесь к святому дню. Я понимаю.

— Когда наступит святой день, мы устроим пир, — заверила она его.

— Если на то будет воля Аллаха.

— Прости, — улыбнулась она.

Он пожал плечами.

— До свиданья, — сказал он.

Днем они по-прежнему гуляли в оазисе или пили чай на крыше, но по утрам она сидела в комнате — шила, стучала молотком, лепила. Сперва она смастерила подставку, потом надо было вылепить фигурки. Она принесла в комнату очень много влажной глины с реки. Лишь через два дня ей удалось вылепить такую Деву Марию, которой она осталась довольна. Из старого лоскута муслина она сделала убедительный навес, под которым приютила Мать и Дитя в колыбельке из белых цыплячьих перышек. Иглами тамариска она выложила пол под навесом. Снаружи рассыпала песок и укрепила в нем длинные ноги глиняных верблюдов; через бархан переваливало одно животное за другим, и на каждом прямо сидел волхв в длинной *джеллабе*, острые складки которой ниспадали по бокам верблюда. Волхвы принесут мешочки миндаля и крошечных шоколадок с ликером, завернутых в разноцветную фольгу. Закончив вертеп, она поставила его на пол посреди комнаты и насыпала перед ним горки мандаринов и фиников. Если зажечь ряд свечек сзади и по одной с двух сторон поставить впереди, станет похоже на цветную литографию мусульманской церемонии. Она надеялась, что Слиман

узнает сценку, и тогда его будет легче убедить в ее поэтической достоверности. Она хотела лишь намекнуть, что богу, с которым он был так близко знаком, поклонялись назареи. Такого она ни за что не решилась бы выразить вслух.

Был и еще один сюрприз к сочельнику: новая вспышка для фотоаппарата, которую Слиман еще не видел. Фрейлейн Виндлинг собиралась сделать побольше снимков рождественского вертепа и как Слиман станет его разглядывать; она увеличит их и покажет ученикам. Она сходила в лавку и купила новый тюрбан для Слимана; у него уже больше года не было никакого. То был мужской тюрбан, превосходно сделанный: десять метров нежнейшего египетского хлопка.

Накануне Рождества она проспала — ее ввело в заблуждение тяжелое небо. Зимой в оазисе порой бывали темные дни; они случались редко, но сегодня был именно такой. Лежа в постели, она слышала рев ветра, а когда встала и выглянула в окно, не обнаружила ничего — лишь тусклый, скрывававший все розовато-серый туман. Песок кружил и беспрерывно царапался в окно; на пол террасы тоже намело. Завтракать фрейлейн Виндлинг пошла в бурнусе, укутав лицо капюшоном. Порыв ветра ударил ее своей монолитной тяжестью, когда она шагнула на террасу; песок скрипел на бетонном полу под ее туфлями. В столовой Буфельджа уже запер ставни; он бодро поздоровался в полумраке, радуясь, что она пришла.

— Увы, очень плохой день для вашего праздника, мадам-уазель! — заметил он, ставя на стол кофейник.

— Праздник завтра, — сказала она. — Он начинается ночью.

— Конечно, конечно. — Его раздражали праздники

назареев: часы их начала и окончания соблюдались очень небрежно. Мусульманские праздники начинались точно: или на закате, или за час до рассвета, или когда молодой месяц только проступал в сумерках на западе. А назареи начинали праздновать, когда вздумается.

Все утро она сидела в комнате и писала письма. К полудню воздух еще сильнее потемнел от песка; ветер тряс гостиницу на скале так, словно собирался швырнуть ее за верхушки пальм вниз в речное русло. Несколько раз фрейлейн Виндлинг вставала и подходила к окну взглянуть на розовую пустоту под террасой. Бури ей нравились, хотя этой неплохо бы налететь и после Рождества. Ей представлялась ясная ночь пустыни — холодная, с живыми звездами, с лаем собак в оазисе. «Может, так оно и будет, есть еще время», — думала фрейлейн Виндлинг, надевая бурнус, чтобы пойти пообедать.

При таком ветре камин был сомнительной благодарью: хотя он давал тепло и единственный свет в столовой, валивший из него дым ел глаза и горло. Ставни на окнах дребезжали и грохотали громче ветра.

После обеда она сразу ушла из столовой к себе в комнату; в сгущавшихся сумерках писала письма, ожидая, когда совсем стемнеет: Слиман должен был придти в восемь. Хватит времени, чтобы отнести все в столовую и поставить рождественский вертеп в темном закутке, куда Буфельджа вряд ли зайдет. Но когда пришло время, она убедилась, что ветер сильнее, чем ей казалось. Много раз ей пришлось ходить в столовую, перенося каждый предмет, аккуратно завернутый в бурнус. Всякий раз, минувя дверь кухни, она ожидала, что Буфельджа откроет дверь и заметит ее. Ей не хотелось, чтобы он видел, как она показывает Слиману ясли: пусть лучше посмотрит утром за завтраком.

Шум бури позволил ей перенести все в дальний темный угол столовой, не возбудив подозрений Буфельджи. Задолго до ужина рождественский вертеп был готов ожить, когда загорятся свечи. Она оставила коробок спичек рядом на столе и поспешила к себе — причесаться и переодеться. Песок набился в одежду и теперь хрустел повсюду: сыпался с нижнего белья и, точно сахар, лип к коже. Когда она вышла, на часах было чуть за восемь.

На столе оказалась лишь одна тарелка. Под дребезжание и хлопки ставень фрейлейн Виндлинг подождала, пока не появился Буфельджа с супницей.

— Какой плохой вечер, — сказал он.

— Ты забыл накрыть для Слимана, — сказала она.

Но он не обращал внимания.

— Он глуп! — воскликнул Буфельджа и стал наливать суп.

— Подожди! — вскричала она. — Придет Слиман. Я не буду есть, пока он не пришел.

Буфельджа по-прежнему не понимал.

— Он хотел войти в столовую, — сказал он, — а знает, что это запрещено за ужином.

— Но я его пригласила! — Она посмотрела на одинокую тарелку супа на столе. — Скажи, чтобы он вошел, и поставь еще одну тарелку.

Буфельджа молчал. Он опустил поварешку в супницу.

— Где он? — настаивала фрейлейн Виндлинг и, не дожидаясь ответа, продолжила: — Разве я не сказала тебе, что он будет ужинать со мной сегодня вечером? — И тут же заподозрила: желая держать все в тайне, она действительно могла не сообщить о приглашении Буфельдже.

— Вы ничего не говорили, — сказал он. — Я не знал. Я отправил его домой. Но он вернется после ужина.

— Ох, Буфельджа! — вскричала она. — Ты знаешь, что Слиман никогда не лжет.

Он укоризненно потупился.

— Я ничего не знал о планах мадмуазель, — произнес он обиженно.

На какой-то быстрый миг у нее возникла мысль, что он обнаружил ясли, но будь это так, он бы сам о них заговорил.

— Да, да, знаю. Я должна была тебе сказать. Это я виновата.

— Это правда, мадмуазель, — сказал Буфельджа. И, подавая остальные блюда, хранил гордое молчание, которое она, все еще недовольная, и не пыталась нарушить. Лишь в конце трапезы, когда она, отодвинув стул, сидела, изучая узоры пламени в камине, он решился заговорить: — Мадмуазель выпьет кофе?

— Да, мне бы хотелось. — Она постаралась, чтобы прозвучало бодрее.

— Bien, — пробормотал Буфельджа и вышел из комнаты. Когда он принес кофе, с ним был Слиман — и оба смеялись, отметила она, словно бы и не было недоразумения с ужином. Слиман секунду постоял у двери, топая ногами и стряхивая песок с бурнуса. Когда он подошел пожать ей руку, она вскричала:

— Ох, Слиман, это я виновата! Я забыла сказать Буфельдже. Это ужасно!

— Никто не виноват, мадам, — сказал он серьезно. — Это праздник.

— Да, это праздник, — эхом откликнулась она. — А ветер по-прежнему дует. Послушай!

Слиман отказался от кофе, но Буфельджа, уступив ей, взял чашку и выпил, стоя у камина. Втайне он рад, заподозрила она, что Слиману не удалось с нею

поужинать. Допив кофе, Буфельджа пожелал им доброй ночи и ушел спать в свою каморку возле кухни.

Они посидели немного, глядя на огонь и не говоря ни слова. В пустоте за окном неся ветер, грохотали ставни. Фрейлейн Виндлинг была довольна. Даже если первая часть праздника пошла наперекосяк, остаток вечера будет приятным.

Только убедившись, что Буфельджа действительно лег спать, она полезла в сумку, достала полиэтиленовый пакетик с шоколадными ирисками и положила на стол.

— Ешь, — произнесла она беззаботно и сама взяла конфетку. Слиман нерешительно потянулся к пакетикку. Когда конфета оказалась у него во рту, фрейлейн Виндлинг заговорила. Она собиралась рассказать ему историю Рождества Христова — она много раз об этом заговаривала в походах, но не вдавалась в детали. Она чувствовала, что теперь нужно рассказать все предание целиком. Фрейлейн Виндлинг ждала, что Слиман перебьет, когда сообразит, что это религиозное предание, но он лишь смотрел на нее уклончиво, механически жевал и показывал, что слушает, время от времени кивая. Фрейлейн Виндлинг увлеклась и даже начала размахивать руками. Слиман взял еще одну конфету и слушал дальше.

Она говорила час или больше, осознавая собственное красноречие словно бы издалека. Рассказывая о Вифлееме, на самом деле она описывала родную деревню Слимана, а дом Иосифа и Марии был домом в *кафе*, где Слиман родился. Ночное небо горбилось над Уэд-Зусфаной, и звезды заливали светом холодную *хаммаду*. Эрг на верблюдах пересекли волхвы в бурнусах и тюрбанах, застыли на вершине послед-

него бархана — посмотреть на долину, где лежала темная деревня. Закончив, фрейлейн Виндлинг высморкалась.

Слиман, казалось, погрузился чуть ли не в транс. Женщина взглянула на него, ожидая, что он заговорит, но он молчал, и она присмотрелась внимательнее. В его глазах застыла бессмысленная одержимость, и хотя он по-прежнему не отводил взгляда от ее лица, ей почудилось, что он видит нечто намного дальше, чем она. Фрейлейн Виндлинг вздохнула, не решаясь его беспокоить. Ей хотелось бы надеяться — хотя это и было невероятно — что мальчика очаровала поэтическая мудрость предания, и он повторяет его в воображении. «Разумеется, это вряд ли», — решила она; скорее, некоторое время назад он перестал ее слушать и просто сидел, даже не понимая, что она умолкла.

И тут Слиман заговорил:

— Вы правы. Он был Царем над Людьми. — Фрейлейн Виндлинг затаила дыхание и подалась вперед, но он продолжал: — А потом Сатана послал двухголовую змею. И Иисус убил ее. Сатана разозлился на него: «Зачем ты убил моего друга? Может, он тебя обидел?» А Иисус сказал: «Я знаю, откуда он». А Сатана надел черный бурнус. Это правда, — добавил он, заметив в ее взгляде то, что он принял за простое недоверие.

Она выпрямилась на стуле:

— Слиман, о чем ты говоришь? Про Иисуса нет таких преданий. И про Сидну-Аиссу тоже нет. — В точности последнего утверждения она, правда, сомневалась; быть может, такие легенды и ходили у этого народа. — Ты знаешь, что это просто выдумки, в них нет ни капли правды.

Он не слышал ее, потому что уже начал говорить:
— Я говорю не о Сидне-Аиссе, — уверенно сказал он.
— Он был мусульманским пророком. Я говорю об Иисусе, пророке назареев. Каждый знает, что Сатана послал ему змею с двумя головами.

Фрейлейн Виндлинг мгновение прислушалась к ветру.

- А, - она взяла еще ириску, не собираясь продолжать спор. Вскоре она вновь залезла в сумку и достала тюрбан, завернутый в тонкую красно-белую бумагу.

- Тебе подарок, - она протянула ему пакет. Он машинально схватил его, положил на колени, не сводя с него глаз. — Что же, ты не хочешь развернуть? — спросила она.

Он дважды кивнул и разорвал бумагу. Увидев сверток белого хлопка, улыбнулся. Заметив его оживление, фрейлейн Виндлинг вскочила.

— Давай примерим! — воскликнула она. Слимман дал ей один конец, который она, дойдя до самой двери, натянула. А он, прижимая другой конец ко лбу, стал медленно поворачиваться, приближаясь к ней и подравнивая тюрбан, пока тот наматывался на голову.

— Великолепно! — воскликнула она.

Он подошел к черным окнам взглянуть на себя.

— Видно? — спросила она.

— Видно с боков, — ответил он. — Очень красиво.

Фрейлейн Виндлинг вышла на середину комнаты.

— Я бы хотела тебя сфотографировать, Слимман, — сказала она, заметив, как он растерялся. — Ты не окажешь мне услугу? Сходи в мою комнату и возьми фотоаппарат.

— Ночью? Вы можете фотографировать ночью?

Она кивнула, таинственно улыбаясь.

— И принеси мне желтую коробку с кровати.

Не снимая тюрбан, он влез в бурнус, взял ее фонарик и вышел; дверь за ним захлопнул ветер. Хоть бы стук не разбудил Буфельджу, — на мгновение она прислушалась, но слышно ничего не было: только рев ветра по коридору снаружи. Затем фрейлейн Виндлинг забежала в темный закуток и чиркнула спичкой. Быстро зажгла все свечи вокруг рождественского вертепа, поправила верблюда в песке и вернулась за угол к камину. Она не думала, что от свечей будет столько света. Закуток теперь был ярче той половины, где стояла она. Через секунду открылась дверь, вошел Слиман с фотоаппаратом через плечо и осторожно положил его на стол.

— На кровати не было желтой коробки, — сказал он. Тут его взгляд упал на отблески непонятного света на стенах, и он двинулся к середине столовой. Фрейлейн Виндлинг решила, что момент настал.

— Пойдем, — она взяла его за руку и легонько потянула за угол, где его взору наконец-то предстал вертеп — яркий от множества трепещущих светлых точек. Слиман ничего не сказал: остановился и застыл неподвижно. На миг повисла тишина, затем фрейлейн Виндлинг нерешительно подергала его за рукав.

— Пойдем и посмотришь.

Они снова двинулись к вертепу; когда они подошли совсем близко, ей показалось, что не будь ее рядом, он протянул бы руку и потрогал его, а может и поднял бы крохотного малютку Иисуса, облаченного в золото, с Его постельки из перышек. Но мальчик тихо стоял и смотрел. Наконец произнес:

— Вы привезли все это из Швейцарии?

— Конечно, нет! — Жаль, что он не признал в сценке пустыню, не почувствовал, что все это — из его земли, не извне.

— Я все сделала здесь, — сказала она. И чуть подождала. — Тебе нравится?

— Ах, да, — сказал он с чувством. — Красиво. Я думал, это из Швейцарии.

Чтобы он понял наверняка, она принялась называть фигурки одну за другой — так почтительно и непривычно, что он удивленно вскинул на нее глаза. Казалось, и она сама видит все впервые.

— И волхвы идут из эрга посмотреть на младенца.

— Почему вы насыпали сюда миндаль? — спросил он, трогая орехи пальцем.

— Это подарки для маленького Иисуса.

— Но что вы собираетесь с ними делать? — не унимался он.

— Наверное, потом съем, — немного погодя ответила она. — Возьми орешек, если хочешь. Говоришь, на кровати не было желтой коробки? — Ей хотелось пофотографировать, пока свечи все еще одинаковой длины.

— Только свитер и какие-то бумаги, мадам.

Она оставила Слимана у яслей, прошла в другой угол столовой и надела бурнус. Темнота в коридоре была непроницаемой — и никаких признаков, что Буфельджа проснулся. Она знала, что в ее комнате ужасный беспорядок и, входя, лучом фонарика поводила по полу. В мешанине разбросанных вещей было мало шансов найти хоть что-то. Слабый луч одну за другой освещал бессмысленные формы, нагромождения разнообразных предметов; свет двинулся по полу, через кровать, за тонкую шторку гардероба. Вдруг она остановилась и осветила под кровать. Перед ней стояла коробка; фрейлейн Виндлинг прятала ее там вместе с вертепом.

«Главное — не упасть», — думала она, спеша по коридору. Затем вынудила себя умерить шаг, зашла

в столовую и аккуратно прикрыла за собой дверь. Слиман стоял на коленях посреди комнаты, держа в руке что-то маленькое. Она с облегчением отметила, что он нашел чем заняться.

— Извини, что я так долго, — воскликнула она. — Забыла, куда ее положила. — Стянув через голову бурнус, она повесила его на гвоздь у камина и, взяв фотоаппарат и желтую коробку, подошла к мальчику.

Его виноватый взгляд заставил фрейлейн Виндлинг посмотреть дальше — где на полу лежало что-то похожее на то, что мальчик держал в руке. То был один из волхвов, оторванный по пояс. Волхв в руке Слимана был нетронутым, но верблюд лишился головы и почти всей шеи.

— Слиман! Что ты делаешь? — закричала она с неприкрытой злостью. — Что ты сделал с яслями?

Она зашла за угол и посмотрела. От вертепа мало что осталось: ряд свеч и горка песка, усыпанного мандариновыми шкурками и финиковыми косточками; тут и там в песок были всунуты тщательно сложенные квадратики лавандовой или розовой фольги. Всех трех волхвов призвали в битву Слимана на полу, навес рухнул после набега на миндаль, из мешков с дарами исчезли трофеи — шоколадки с ликером. Малютка Иисус исчез, как и его одеяние из золотой фольги. На глаза фрейлейн Виндлинг навернулись слезы. Затем она усмехнулась:

— Ну, с этим покончено. Да?

— Да, мадам, — спокойно ответил он. — Вы будете сейчас фотографировать? — Он поднялся на ноги и положил сломанного верблюда на подставку в песке рядом с остальными руинами.

Фрейлейн Виндлинг ответила ровно:

— Я хотела сфотографировать ясли.

Он помедлил мгновение, словно прислушивался к чему-то далекому:

— Мне надеть бурнус?

— Нет. — Она стала доставать вспышку. Приготовив ее, сделала снимок, не успел он встать в позу. Его изумила неожиданно яркая вспышка, и он удивился, что все уже кончилось, а потом обиделся, что его застали врасплох; но притворившись, что ничего не заметила, фрейлейн Виндлинг со щелчком надела крышку. Мальчик смотрел, как она складывает камеру.

— Это все? — разочарованно спросил он.

— Да, — ответила она. — Это будет очень хорошая фотография.

— Иншалла.

Она не откликнулась на его благочестие.

— Надеюсь, праздник тебе понравился, — сказала она.

Слиман широко улыбнулся:

— Ах да, мадам. Очень. Спасибо.

Она выпустила его на верблюжью стоянку и заперла дверь. Быстро вернулась к себе — ей хотелось, чтобы ночь была ясной, как другие, когда можно стоять на террасе и смотреть на барханы и звезды, или сидеть на крыше и слушать собак: несмотря на поздний час, ее не клонило ко сну. Она убрала с постели все вещи и легла, не сомневаясь, что без сна лежать будет долго. Потому что он потряс ее — тот хаос, что Слиман учинил, пока ее не было. За время их дружбы она привыкла думать о нем так, словно он на нее очень похож, хотя и знала, что он таким не был, когда они познакомились. Теперь она видела, что в сердцевине этой фантазии таилось опасное тщеславие: она возомнила, будто связь с ней автоматически пошла ему на пользу, что он неизбежно

становится лучше благодаря знакомству с ней. Желая, чтобы Слиман переменялся, она стала забывать, кем он в действительности был. «Я никогда его не пойму», — безнадежно думала она, веря, что именно из-за подобной близости не сможет смотреть на него бесстрастно.

«Это пустыня, — сказала она себе. — Еда здесь не украшение, ее следует есть». Она выложила еду, и он ее съел. Бессмысленно осуждать за это. Так что она лежала, обвиняя себя. «Слишком много ума и высоких идей, — размышляла она, — и маловато сердца». Наконец с гулом ветра фрейлейн Виндлинг унесло в сон.

Проснувшись на рассвете, она поняла, что наступил еще один темный день. Ветер сник. Она поднялась и закрыла окно. Рассветное небо тяжело от туч. Фрейлейн Виндлинг вновь тяжело опустилась на кровать и уснула. А позднее обычного поднялась, оделась и вышла в столовую. Когда Буфельджа пожелал ей доброго утра, лицо его было странно невыразительным. Она предположила, что еще сказывалось воспоминание о вчерашнем недоразумении — или, быть может, он злился, что пришлось убирать остатки вертепа. Когда она села и расстелила на коленях салфетку, он все же соизволил сказать:

— С праздником.

— Спасибо. Скажи мне, Буфельджа, — продолжила она, чуть изменив тон, — когда ты привел обратно Слимана после ужина вчера вечером — не знаешь, где он был? Он сказал тебе?

— Он глупый мальчишка, — ответил Буфельджа. — Я велел ему идти домой, поест и вернуться попозже. Думаете, он так и сделал? Вовсе нет. Он все время бродил взад-вперед по дворику за дверью кухни, в темноте.

— Все ясно! — с торжеством воскликнула фрейлейн Виндлинг. — Так он совсем не ужинал.

— Мне было нечего ему дать, — стал оправдываться Буфельджа.

— Разумеется, — твердо сказала она. — Ему следовало вернуться домой и поесть.

— Вот именно, — ухмыльнулся Буфельджа. — Это я и велел ему сделать.

Она представила как развивалась история: Слиман надменно сообщает отцу, что поужинает в гостинице со швейцарской дамой, старик несомненно говорит о ней что-то язвительное, и Слиман уходит. После того, как его не пустили в столовую, немисливо вернуться и услышать насмешки родни.

— Бедняга, — пробормотала она.

— Вас желает видеть комендант, — сказал Буфельджа, по обыкновению резко сменив тему. Фрейлейн Виндлинг удивилась, поскольку шли годы, а капитан ничем не выдавал, что осведомлен о ее существовании; гостиница и форт были словно две отдельные страны. — Наверно, из-за праздника, — предположил Буфельджа с каменным лицом.

— Наверное, — тревожно сказала она.

Позавтракав, она отправилась к воротам форта. Часовой, похоже, ожидал ее. На плацу знакомый ей юный солдат красил стул. Поздоровавшись, он сказал, что капитан ждет ее в своем кабинете. Она поднялась по высокой лестнице и чуть задержалась на верхней площадке, глядя на долину в непривычном сером свете и отмечая, как изменил ее этот тусклый день. Голос из-за двери выкрикнул:

— Entrez, s'il vous plait!¹

¹ Пожалуйста, входите! (*фр.*)

Она открыла дверь и вошла. Капитан сидел за столом; у фрейлейн Виндлинг возникло неприятное ощущение, что эта же сцена уже разыгрывалась в иной раз, в ином месте. И вдруг ее охватила уверенность: уже ясно, что скажет капитан. Она схватилась за спинку стула напротив его стола.

— Присаживайтесь, мадемуазель Виндлинг, — сказал он, приподнявшись, махнул рукой и быстро сел обратно.

На стене позади него висели несколько топографических карт, размеченных сиреневым и зеленым мелом. Капитан взглянул на стол, затем на нее и громко произнес:

— Это горестная причуда судьбы, что мне пришлось вызвать вас сюда в праздничный день.

Фрейлейн Виндлинг присела; подавшись вперед, она, казалось, хотела облокотиться о стол, но вместо этого положила ногу на ногу и туго сложила руки на груди.

— Вот как? — произнесла напряженно она, ожидая известия. Оно последовало незамедлительно, и за это, как фрейлейн Виндлинг поняла в тот же миг, она была ему признательна. Капитан просто сказал ей, что вся область закрыта для гражданских лиц; этот приказ относится и к французам, и к иностранцам, поэтому ей не следует чувствовать себя дискриминированной. Последнее было сказано с кислой улыбкой.

— Это значит, что вам завтра утром придется уехать на грузовике, — продолжил он. — Водитель извещен о вашем отъезде. Возможно, в другой год, когда беспорядки закончатся... — («Зачем он это говорит, — подумала она, — если знает, что это конец, время дружбы закончилось?») Он поднялся и протянул руку.

Она не помнила, как вышла из комнаты и спустилась на плац, — но вот уже стояла у будки часового за стеной форта, прижав ко лбу руку. «Уже, — подумала она. — И так скоро». И вдруг поняла, что ей не оставляют времени загладить вину перед Слиманом, и теперь она и вправду никогда его не поймет. Она подошла к парапету, чтобы взглянуть на краешек оазиса, а потом вернулась к себе паковать вещи. Весь день она провозилась, вытаскивая коробки, заставляя себя думать лишь о решении, что взять, а что оставить раз и навсегда.

За обедом Буфельджа не отходил от ее стула.

— Ах, мадмуазель, мы столько лет были вместе, а теперь этому конец!

«Да», — подумала она, но тут уж ничего не поделаешь. Его причитания нервировали ее, и она была резковата. Затем, усомнившись, медленно произнесла, глядя прямо на него:

— Мне очень грустно, Буфельджа.

— Ох, мадмуазель, я знаю!

К ночи пелену туч унесло за пустыню, небо на западе слегка прояснилось. Фрейлейн Виндлинг закончила сборы. Она вышла на террасу, увидела розовые пылающие барханы и поднялась на крышу посмотреть на закат. Все небо исполосовали огромные мотки яростной грозовой тучи. Фрейлейн Виндлинг машинально проследила взглядом извивы речной долины, терявшейся в мрачной пустыне на юге. «Это в прошлом», — напомнила она себе; уже настала новая эпоха. Пустыня выглядела такой же, как всегда. Но небо, драное, черно-красное, походило на только что вывешенную прокламацию, возвещающую начало войны.

«Это предательство, — думала она, спускаясь по крутой лестнице, ведя рукой по знакомой шершавой

глинобитной стене, — и виноваты, разумеется, французы». Но еще у нее была иррациональная и неприятная уверенность, что вся земля здесь содействовала предательству — ждала преобразования в этой борьбе. Фрейлейн Виндлинг вернулась в свою комнату, зажгла небольшую масляную лампу и, присев, стала греть над ней руки. В какой-то момент случилась перемена: люди больше не хотели жить в том мире, что был им знаком. Давление прошлого стало слишком велико, скорлупка этого мира треснула.

После полудня она отправила Буфельджу сообщить новости Слиману и попросить мальчика прийти в гостиницу на рассвете. За ужином она говорила только об отъезде и путешествии; а когда Буфельджа старался перевести беседу на чувства, не отвечала. Его сострадание было невыносимо; она не привыкла говорить вслух о своем отчаянии. Вернувшись в комнату, она сразу легла. Полночи лаяли собаки.

Наутро похолодало. Пальцы ныли, когда она собирала мокрые предметы с раковины, а под ноготь большого пальца она умудрилась загнать занозу. Она вытащила кусочек иглой, но большая часть осталась. Перед завтраком она выглянула наружу.

Остановившись на пустыре между гостиницей и фортом, она смотрела вниз на невинный пейзаж. Закрытый на замок бензонасос ликующего красно-оранжевого цвета ловил чистый, утренний свет солнца. На миг он показался ей единственным живым существом в округе. Она обернулась. Над темной беспорядочной массой пальм поднимались террасы деревни, замершие под утренней вуалью дыма. На секунду фрейлейн Виндлинг зажмурилась, потом вернулась в гостиницу.

Она пила кофе, чувствуя, что неестественно застыла на стуле, зная, что с Буфельдгой ведет себя холодно и формально, но только так, она была уверена, и можно продержаться. Потом он подошел и сказал, что Слиман здесь, а с ним — погонщик ослика, который отвезет багаж. Она сказала спасибо и поставила чашку.

— Еще? — спросил Буфельджа.

— Нет, — ответила она.

— Выпейте еще, мадмуазель, — настаивал он. — Это полезно холодным утром. — Он налил кофе, и она отпила немного. В ворота постучали. На джипе приехал молодой солдат, чтобы довезти ее до остановки грузовика на дороге.

— Я не могу! — вскричала она, думая о Слимане и ослике. Молодой солдат ясно дал понять, что это не предложение, а приказ. Слиман стоял с осликом за воротами. Когда она с ним заговорила, солдат закричал:

— Он тоже хочет поехать, этот *gosse*¹? Может поехать, если хочет.

Слиман побежал за багажом, а фрейлейн Виндлинг поспешила назад заплатить за номер.

— Не торопитесь, — сказал солдат, — времени полно.

Буфельджа стоял в дверях кухни. Только сейчас она впервые подумала, что же с ним будет. Он лишится работы, если гостиница закроется. Она оплатила счет, дала ему на чай гораздо больше, чем могла себе позволить и, сжав его руки, сказала:

— *Mon cher* Буфельджа, мы очень скоро увидимся.

— Ах да, — вскричал он, стараясь улыбнуться, — очень скоро, мадмуазель.

Она дала погонщику немного денег и села в джип

1 Мальчонка (*фр.*).

рядом с солдатом. Слиман вынес багаж и встал позади джипа, пиная колеса.

— Ты всё взял? — обратилась она к нему. — Всё?

Ей бы хотелось проверить самой, но было невыносимо возвращаться в комнату. Незадолго до этого Буфельджа исчез; теперь он, запыхавшись, появился с пачкой старых журналов.

— Это ничего, — сказала она. — Нет-нет! Мне они не нужны.

Джип покотил с холма. До валунов они добрались, как ей показалось, немыслимо быстро. Фрейлейн Виндлинг попыталась поднять портфель, но под ногтем болело так, что, чуть не заплакав, со стоном выронила. Слиман посмотрел на нее удивленно.

— Поранила руку, — объяснила она. — Пустяки.

Чемоданы были сложены в тени. Солдат сидел на камне рядом с джипом, лицом к фрейлейн Виндлинг, и время от времени оглядывал горизонт: не едет ли грузовик. Слиман, обследовав джип со всех сторон, в конце концов, сел неподалеку. Они почти не говорили. Сама не зная, почему, — то ли из-за солдата, то ли из-за того, что палец так болел, — она просто тихо ждала, не желая разговаривать.

Прошло много времени, но вот донесся звук далекого мотора. Грузовик был еще облачком пыли между небом и землей, а солдат уже вскочил на ноги, приглядываясь; секундой позже поднялся Слиман.

— Он едет, мадам, — сказал он. Затем склонился к ней очень близко и прошептал: — Я хочу доехать с вами до Коломб-Бешара. — Когда она не ответила — потому что представляла, как вся история их дружбы разворачивается перед ней, от конца до начала, — он произнес громче: — Пожалуйста, мадам.

Фрейлейн Виндлинг колебалась лишь мгновение. Затем подняла голову и внимательно посмотрела на гладкое смуглое лицо, такое близкое.

— Конечно, Слиман, — сказала она. Ясно, что он не ожидал этого услышать; его восторг был заразительным, и она улыбнулась, глядя, как он побежал к грудке чемоданов и начал вытаскивать их из тени, чтобы расставить в пыли на обочине.

Позже, когда они мчались по *хаммаде* — она впереди, рядом с водителем, а Слиман сзади, с десятком мужчин и овцой, — она думала о своем безответственном решении позволить ему эту нелепую поездку до самого Коломб-Бешара. И все же знала, что именно так хотела завершить их историю. Она несколько раз оглядывалась и смотрела на Слимана сквозь грязное стекло. Он сидел в дыме и пыли, смеясь вместе со всеми; капюшон бурнуса почти целиком скрывал его лицо.

В Коломб-Бешаре шел дождь; улицы превратились в огромные лужи, в которых отражалось пасмурное небо. Угрюмый негритенок из гаража помог им донести багаж до вокзала. Палец болел чуть меньше.

— Холодный город, — сказал ей Слиман, когда они шли по главной улице. На станции они сдали багаж и, выйдя наружу, увидели, как с платформы товарняка сгружают машину: крыша автомобиля все еще белела от высокогорного снега. День был темный, ветер гнал рябь по воде, залившей пустыри. Поезд фрейлейн Виндлинг отправлялся под вечер. Они с мальчиком зашли в ресторан и плотно пообедали.

— Ты действительно вернешься завтра домой? — с тревогой спросила она, когда они ели фрукты. — Ты знаешь, нельзя нам было так с твоими родителями. Они никогда меня не простят.

Лицо Слимана помрачнело.

— Это не имеет значения, — отрезал он.

После обеда они прогулялись по городскому саду и посмотрели на орлов в клетках. Ветром принесло мелкую морось. Грязь на дорожках стала глубже. Они вернулись в центр города и сели на террасе большого, неряшливого современного кафе. Стол с одной стороны был частично укрыт от мокрого ветра; они сидели лицом к пустырю, заваленному всяким хламом. Неподалеку, точно разбросанные кости упавшего на караванной тропе верблюда, торчал ржавый остов древнего автобуса. Перегораживая пустырь, лежала длинная, свежесрубленная финиковая пальма. Фрейлейн Виндлинг посмотрела на влажные оранжевые волокна пня и ощутила к дереву праздную жалость.

— Выпью-ка я кока-колы, — объявила она. Слиман сказал, что хочет тоже.

Сидели они долго. Дождь косо чертил воздух за сводами галерей и падал на землю тихо. Фрейлейн Виндлинг ожидала, что будут приставать нищие, но те не появились, и сейчас, когда пришло время уходить из кафе и возвращаться на вокзал, она была благодарна, что день прошел так легко. Она открыла бумажник, достала три тысячи франков и отдала Слиману:

— Этого хватит на все. Но ты должен купить обратный билет сегодня. Когда уйдешь с вокзала. Только не потеряй.

Слиман спрятал деньги под одежду, поправил бурнус и поблагодарил ее.

— Понимаешь, Слиман, — сказала она, удерживая его, потому что он собрался подняться из-за стола, — я не даю тебе сейчас больше денег, потому что они нужны мне на дорогу. Но когда я вернусь в Швейцарию,

я буду время от времени высылать их понемножку. Немного. Чуть-чуть.

Его лицо вдруг овеяло паникой; ее это сбило с толку.
— У вас нет моего адреса, — сказал он.

— Нет, я отправлю их Буфельдже, — ответила она, полагая, что это его устроит. Слимман подался к ней — с напряжением во взгляде.

— Нет, мадам, — категорично сказал он. — Нет. У меня есть ваш адрес, и я вам вышлю свой. Тогда он у вас будет, и вы сможете мне писать.

Об этом не стоило спорить. Почти весь день ее палец болел не слишком; теперь, когда стемнело, он снова заныл. Она хотела подняться, найти официанта и расплатиться. Моросило по-прежнему; вокзал был далековато. Но она видела, что Слимман хочет сказать что-то еще. Он наклонился вперед на стуле и уставился в пол.

— Мадам, — начал он.

— Да? — отозвалась она.

— Когда вы будете в своей стране и подумаете обо мне, вы не будете счастливы. Правда, нет?

— Мне будет очень грустно, — сказала она, поднимаясь.

Слимман медленно встал и на миг умолк, а потом продолжил:

— Грустно, потому что я съел еду из сценки. Это очень плохо. Простите меня.

Она пронзительно вскрикнула:

— Нет! — и сама испугалась. — Нет! Это хорошо! — Щеки и губы ее кривились в плаче; она неистово схватила его руку и заглянула ему в лицо. — Oh, mon pauvre petit!¹ — заплакала она и закрыла лицо руками. И почувствовала, как он легонько трогает ее за рукав. Мимо по главной улице проехал грузовик, пол затрясся.

¹ О, мой бедный малыш! (*фр.*)

Она с трудом отвернулась и порылась в сумке, доставая носовой платок.

— Пойдем, — сказала она, откашлявшись. — Позови официанта.

Они добрались до вокзала замерзшие и мокрые. Поезд как раз составлялся; пассажирам не разрешалось выходить на платформу, и они сидели внутри на полу. Пока фрейлейн Виндлинг покупала билет, Слиман пошел забрать багаж из камеры хранения. Его долго не было. Когда он вернулся, его бурнус был накинут на плечи, а сам он победно ухмылялся, неся три чемодана на голове. Шедший за ним человек в рваном европейском пиджаке и брюках нес остальное. Когда носильщик подошел ближе, фрейлейн Виндлинг заметила, что он держит в зубах клочок бумаги.

В старом купе пахло лаком. В окно виднелись несколько лоскутков водянистого белого неба на западе, далеко над пустошью. Слиман хотел разложить багаж по сиденьям, чтобы в купе никто больше не зашел.

— Нет, — сказала она. — Поставь на полки.

В вагоне было немного пассажиров. Когда все утряслось, носильщик встал в проходе снаружи, и она увидела, что он по-прежнему держит в зубах листок. Он пересчитал монеты, которые она ему дала, и сунул в карман. Затем быстро отдал бумажку Слиману и исчез.

Фрейлейн Виндлинг чуть нагнулась, чтобы посмотреть на себя в узкое зеркало над спинкой сиденья. Было маловато света; масляный фонарь освещал лишь потолок, а дно светильника отбрасывало свинцовую тень на все остальное. Вдруг поезд встряхнуло, и он

заскрежетал. Она обхватила руками голову Слимана и поцеловала его в лоб.

— Пожалуйста, сойди с поезда, — попросила она. — Мы можем поговорить здесь. — Она указала на окошко и стала тянуть за рваную кожаную петлю, которой оно опускалось.

Когда она выглянула, Слиман показался ей совсем маленьким на темном перроне: он не сводил с нее глаз. Тут поезд тронулся. Фрейлейн Виндлинг думала, что он проедет лишь несколько футов и остановится, но состав полз дальше. Слиман шел рядом, держась вровень с ее окном. В его руке была бумажка, которую дал носильщик. Он показал ее, закричав:

— Вот мой адрес! Пишите сюда!

Она взяла ее и продолжала махать рукой, выкрикивая: «До свидания!», а поезд двигался все быстрее. Слиман по-прежнему быстро шел рядом с окошком, ускоряя шаг, потом пустился бегом, пока перрон не закончился. Она высунулась далеко, глядела назад, махала, но мальчик тотчас пропал во тьме и дожде. У путей оранжево пылал костер, и дым обжег ей ноздри. Фрейлейн Виндлинг подняла окно, посмотрела на листок в руке и присела. Поезд швырял ее туда и сюда; она не отрывалась от бумажки, хотя сейчас та была в тени, и вспоминала первый день, давным-давно, когда маленький Слиман стоял за дверью и наблюдал, прячась всякий раз, когда она оборачивалась на него посмотреть. Слова, поспешно написанные носильщиком на клочке бумаги, и впрямь были адресом — но адресом в Коломб-Бешаре. «Говорят, пытался сбежать. Но далеко не ушел». С каждой мелочью его поведения, которую она припоминала, ситуация прояснялась. «Он слишком молод воевать, —

сказала она себе. — Его не возьмут». Но знала, что возьмут.

Палец распух и горел; порой ей чудилось, что он пульсирует в такт вагонной тряске. Она посмотрела на несколько оставшихся обрывков бесцветного сияния в небе. Рано или поздно он бы все равно это сделал, рассуждала она.

«Возможно, в другой год», — сказал капитан. Она видела свою кривую, безнадежную улыбку в темном оконном стекле. Может, Слиману повезет, окажется среди первых жертв. «Если б только смерть на войне была надежна, — сбивчиво думала она, — ждать ее было б не так больно». Кренясь и кряхтя, поезд начал долгий подъем на плато.

1967

ДЕНЬ С АНТЕЕМ

Ты хотел видеть меня? Тебе правильно сказали. Так меня и зовут. Нтэй. Африканский Великан — вот как меня называют с тех пор, как я начал бороться. Чем тебе помочь? Город уже посмотрел? Бывают места и похуже. Тебе повезло, что нынче нет ветра. Плохой ветер здесь у нас дует. А без него — слишком палит. Аргус? Никогда про него не слышал. Я не бывал на той стороне.

Человек по имени Эракли? Да, да, он здесь был. Давно. Я его помню. Мы даже с ним боролись.

Убил меня! Так он там вам рассказывал? Понятно. А когда ты пришел сюда, то услышал, что я тут по-прежнему, и тебе захотелось со мной встретиться. Понимаю.

Давай-ка присядем. Здесь во дворе есть источник, и в нем — самая холодная в городе вода. Ты спросил об Эракли? Нет, хлопот у него здесь не было — если не считать того, что он проиграл бой. Кому он тут нужен? Пришел один. Никто его тут раньше не видел. Пускай себе идет. Зачем его беспокоить? Только дикари нападают на человека, который пришел один. Убивают его, а потом дерутся за его набедренную повязку. Мы же пропускаем людей без лишних разговоров. Входят с одной стороны, выходят — с другой. Нам так нравится. В мире и дружбе со всеми. У нас есть пословица: «Никогда не бей человека, если не уверен, что можешь его убить, а если уверен — убивай быстро». Там, откуда я родом, мы гораздо грубее, чем они здесь, на побережье. Жизнь у нас труднее, зато здоровья больше. Посмотри на меня — ведь я тебе в отцы гожусь. Если б я всю жизнь прожил на взморье, я б так не сохранился. И все равно — видел бы ты меня лет двадцать назад. В те дни я на все

ярмарки ходил, людям представления устраивал. Быка подымал одной рукой, а другой — хрясь меж рогов, и он замертво падает. Народу такое нравится. Иногда балки головой ломал. Тоже любили — да только с быком это обряд такой был, поэтому быка больше всего просили показать. Все обо мне знали.

Хочешь орехов? Я их каждый день ем. В верхнем лесу собираю. Там деревья растут — таких огромных ты никогда в жизни не видел.

Он лет двадцать назад здесь проходил, но я его прекрасно помню. Не потому что хороший борец был, а потому что совсем полоумный. Такого полоумного, как Эракли, и захочешь забыть — не сможешь.

Бери еще. У меня их полный мешок. Это правда — вкус у них ни на что не похож. У вас на той стороне таких наверняка нету.

Я тебя запросто в лес отведу, если посмотреть охота. Это недалеко. Ты ж не против немного по горам погулять?

Конечно, он здесь ни с кем дружбы не свел, но какие могут быть друзья у такого человека? Он столько о себе мнил, что и нас-то не замечал. Считал всех нас дикарями, думал, мы на басни его купимся. Еще до поединка все над ним смеялись. Сильный, да — но борец никудышный. Ужасный хвостун и страшный лжец. И невежда к тому же.

Вот здесь свернем и пойдем по той тропе. Все время языком молол. Если ему верить, так все ему по плечу, никого на свете лучше него и быть не может.

По дороге хороший вид открывается. Край света. Каково, а — привык всю жизнь в середке, а тут на край попал? Должно быть, все иначе видится.

Когда Эракли в город пришел, на него и внимания никто не обратил. Должно быть, у него какие-то деньжата

с собой были, потому как начал он встречаться тут с парой-тройкой моих знакомых каждый день, да поить их за свой счет. Они мне про него и рассказали, и я пошел как-то раз поглядеть на него — не знакомиться, просто поглядеть. И сразу понял — никчемный он. И борец никчемный, и человек. Я даже всерьез его не воспринял, куда там вызов какой-то бросать. Ну как можно всерьез к человеку относиться, если у него борода — что твое овечье руно?

Подзадержался он в городе, да поглядел, как я быков забиваю. Да и пару поединков я провел, пока он тут был — и он на все, наверное, приходил, на меня посмотреть. И вот я и глазом моргнуть не успел — он меня вызывает. Сам сразиться хотел. Невероятно. Больше того — мне передали, что он еще и зло на меня затаил за то, что это не я ему вызов прислал. А мне такое и в голову не пришло.

Вся эта земля, что ты здесь видишь, — моя. И вот это, и лес впереди. Я сюда никого не пускаю. Мне гулять нравится, а с людьми встречаться я не хочу. Они меня раздражают. Я ведь раньше с каждым, кого ни встречу, дрался. В самом начале, по крайней мере.

Когда я совсем крохой был, мне у себя в деревне нравилось под конец дня ходить к большой скале. Я на нее садился, смотрел вниз, в долину и представлял, что враги нападают. Потом их до какого-то места подпускал и скатывал на них валун. И убивал всех каждый раз. Отец меня однажды поймал и всыпал. Мог в овцу или козу попасть внизу — или даже в человека.

Но я не умер, как видишь, что бы там Эракли ни рассказывал. Я хочу, чтобы ты на мои деревья посмотрел. Посмотри, какой ствол вот у этого. Смотри выше, выше, выше — вон, где ветки начинаются. Видел где-нибудь такие большие деревья?

Когда я стал постарше, то научился заваливать телят, а потом и бычков. К тому времени я уже боролся вовсю. И пока ни разу не проиграл. Все забыли, что меня зовут Нтэй, а стали называть просто — Великан. Не из-за роста, конечно. Не такой уж я и большой. Просто в поединке меня никто одолеть не мог. Сначала только окрестные собирались, а потом даже издалека приходили. Стоит людям услышать о борце, который никогда не проигрывает, так сам знаешь. Никак не могут поверить, что его положить на лопатки нельзя. Так и с твоим Эракли было. Я с ним до поединка и не встречался — только от друзей про него слышал. Он им рассказывал, что изучил меня и понял, как можно меня победить. А как — не говорил. Я так и не узнал, что он собирался делать, пока бой не кончился.

Нет, я не умер. Я по-прежнему победитель. Здесь тебе любой расскажет. Жалко, что ты сам с Эракли не сталкивался. Иначе б так не удивлялся. Ты бы понял: вернувшись домой, он рассказывает только то, что хочет рассказать, — и ничего больше. Правду он все равно сказать не смог бы, хоть бы и захотел.

Устал? Склон крутой, если не привык по горам лазать. Сам поединок? Недолго длился. Эракли слишком увлекся тем замыслом, который придумал. То отступит от меня, то наскочит — и стоит, руки на меня положил. Я не понимал, чего он добивается. Толпа улюлюкает. Я даже подумал: он из тех, кому приятно вот так — руками мужчину по груди гладить, да за бока лапать. А ему не понравилось, когда я захохотал и на толпу прикрикнул. Все время такой серьезный. А я все равно ошибся. Мы не слишком быстро идем? Да у тебя еще кошель такой тяжелый на поясе. Можем и помедленней. Спешить некуда.

Хорошая мысль. В самом деле — присядем на минутку, передохнем. Ты как себя чувствуешь? Нет. Ничего. Просто показалось — бледный ты какой-то. Может, свет так упал. Сюда солнце никогда не заглядывает.

Только после поединка мне один приятель рассказал, что Эракли хотел сделать. Не броском свалить — этот остолоп меня пытался оторвать от земли и подержать в воздухе! Не чтобы снова бросить потом, а просто — подержать. Трудно поверить, правда? Но он именно этого и добивался. В этом и был его великий замысел. Почему? А я откуда знаю? Я африканец. Почему мне знать, что в мозгах у людей из твоей страны?

Возьми еще орехов. Нет-нет, от них тебе хуже быть не может. Все дело в воздухе. Наш климат не подходит людям с той стороны. Пока он там раздумывал, как бы меня половчее приподнять, я его и прикончил. Пришлось за ноги уволакивать.

Дальше пойдём? Или ты еще отдохнуть хочешь? Не отдышался? Здесь, в лесу воздуха совсем нет.

Может, еще подождем, как считаешь? Конечно, если дальше хочешь идти. Можем пойти медленно. Держи руку — я тебе помогу. Жалко, что дальше не пошли. Самые большие деревья вон там, наверху.

Да, его утащили, и он три дня на рогоже валялся, отлеживался, только потом ушел. Уковылял из города, как собака, а все смеялись над ним по дороге. Держись за меня. Я тебе упасть не дам. Да можешь, можешь ты сам идти. Только не останавливайся. И уходя из города, он по сторонам глядеть боялся. Радовался, наверное, когда добрался до гор.

Успокойся. Сначала одну ногу, потом другую. Не знаю я, куда он пошел. Боюсь, воды-то тут и нет. Ничего, найдем, когда в город спустимся. Все будет хорошо.

Наверное, ушел туда, откуда и пришел. Мы его тут никогда больше не видели, как бы там ни было.

Тебе не кажется, что мы с тобой уже целую вечность идем? А на самом деле — всего несколько минут. Тропинку ты узнаешь, но где ты — не знаешь? А зачем тебе знать, где ты? Это ж не твой лес. Успокойся. Шажок. Шажок. Еще шажок.

Ты прав. Это тот камень, на котором мы с тобой сидели несколько минут назад. Я все думал, заметишь ты или нет. Ну конечно, я знаю, куда идти! Я просто подумал, что тебе не помешало бы отдохнуть перед тем, как мы к городу двинемся. Правильно, вот сюда и приляг. Поспишь немножко — и все будет прекрасно. Здесь очень тихо.

Нет, ты недолго спал. Как теперь себя чувствуешь? Хорошо. Я же знал, что поспишь — и полегчает. Ты просто к здешнему воздуху не привык. Кошель? Мне кажется, у тебя с собой ничего не было.

И вовсе не нужно такие рожи корчить. Ты ведь не думаешь, что я его взял, правда?

Я-то считал, что мы друзья. Я к тебе со всей душой. А ты мне вон чем отвечаешь.

Никуда я тебя больше не поведу. Сам в город спускайся. А мне в другую сторону.

Возвращайся в свою страну — расскажешь всем обо мне. Да можешь ты сам идти, можешь.

Только не останавливайся.

И в лесу не задерживайся!

1970

МЕДЖДУБ

Человек, всегда ночевавший в кафе, или под деревьями, или же там, где ему просто хотелось спать, бродил однажды утром по улицам городка. Он вышел на рыночную площадь: там перед толпой, выкрикивая пророчества, кривлялся старый *медждуб*¹, одетый в рванину. Человек стоял и смотрел, пока старик не закончил и не собрал все деньги, которые люди ему предложили. Человека изумило, сколько безумец набрал, и от нечего делать он решил пойти за ним.

Не успели они уйти с базара, как человек заметил, что из торговых рядов выскакивают ребяташки и бегут за *медждубом*, а тот просто шагает дальше, монотонно распевая и размахивая посохом, то и дело грозя мальчишкам, подбегающим слишком близко. Держась в отдалении, человек увидел, что старик заходит в лавки. Всякий раз он появлялся оттуда с купюрой в кулаке, которую быстро отдавал одному из сорванцов.

Человеку пришло в голову, что у этого *медждуба* есть чему поучиться. Нужно только присмотреться к его поведению и тщательно прислушаться к тому, что он произносит. А со временем он и сам бы мог так же махать руками и кричать те же слова. Каждый день теперь он разыскивал в городе *медждуба* и следил за ним, куда бы тот ни шел. В конце месяца он решил, что готов применить эту науку.

Он отправился на юг, в другой город, где прежде не бывал. Там он снял очень дешевую комнату возле скотобойни, далеко от центра. На блошином рынке купил

¹ Юродивый (*араб.*).

старую и драную *джеллабу*. Потом пошел к кузнецам и попросил сделать ему длинный посох — вроде того, какой носил *медждуб*.

На следующий день, немного поупражнявшись, человек пришел в город и сел на улице у входа в самую большую мечеть. Сначала он просто смотрел на прохожих. Затем медленно начал воздевать к небесам руки и делать разные движения. Никто не обращал на него внимания. Это его успокоило, поскольку означало, что личина удалась. Когда он стал выкрикивать слова, люди бросали на него взгляды, но, похоже, не видели его, а только ждали, что он скажет. Какое-то время он выкрикивал короткие стихи из Корана. Человек вращал глазами, а тюрбан съезжал ему на лицо. Прокричав несколько раз слова *пламя* и *кровь*, он опустил руки, склонил голову и больше ничего не говорил. Люди пошли своей дорогой, но многие накидали перед ним на землю монет.

В следующие дни он пробовал другие части города. Где сидеть — казалось, неважно. Прохожие были щедры к нему повсюду. Ему не хотелось рисковать и заходить в лавки и кафе, пока он не убедится, что город к нему привык. Однажды он промчался по улицам, трясая посохом и вопя:

— Сиди Рахал пришел! Сиди Рахал говорит вам — готовьтесь к пламени! — Лишь для того, чтобы дать себе имя, которое запомнят горожане.

Человек начал останавливаться в дверях лавок. Если слышал, как кто-то внутри называл его имя — Сиди Рахал, — он заходил, свирепо глядел на лавочника и, ни слова не говоря, протягивал руку. Хозяин давал ему деньги, он поворачивался и уходил.

Дети почему-то за ним не бегали. Лучше, конечно, если бы за ним ходила стайка ребятишек, как за старым

медждубом, но стоило ему с ними заговорить, они пугались и удирали. Так спокойнее, убеждал себя он, но втайне его это беспокоило. И все равно зарабатывал он даже больше, чем думал поначалу. К первым дождям у него скопилась крупная сумма. Оставив посох и рваную *джеллабу* в комнате возле скотобойни, он уплатил хозяину на несколько месяцев вперед. Дождь начался ночью. Запер за собой дверь и уехал на автобусе в свой город.

Сначала он купил много разной одежды. Одевшись богато, отправился подыскивать себе дом и вскоре нашел подходящий. Дом был маленький, и денег на него хватило. Человек обставил две комнаты мебелью и приготовился провести зиму за едой и *кифом* со старыми приятелями.

Когда его спрашивали, где он пропадал все лето, он рассказывал о гостеприимстве и щедрости своего богатого брата в Тазе. Но ему уже не терпелось, чтобы дожди закончились поскорее. Сомнений не было: новая работа ему очень нравилась.

Зима, наконец, подошла к концу. Человек сложил сумку и сказал друзьям, что уезжает по делам. В другом городе сразу пришел к себе в комнату. Его *джеллаба* и посох были на месте.

В этот год его уже узнавали многие. Он стал смелее и заходил в лавки, не дожидаясь в дверях. Лавочники, желая показать покупателям свое благочестие, всегда ему давали больше, чем прохожие.

Однажды он решил проверить себя. Он остановил такси, а забравшись внутрь, проревел:

— Я должен ехать к гробнице Сиди Ларби! Быстро! — Шофер, знавший, что ему не заплатят, тем не менее, согласился, и они приехали к оливковой роще на холме далеко от города.

Человек велел таксисту ждать и выскочил из машины. Затем начал карабкаться по склону к могиле. У таксиста кончилось терпение, и он уехал. На обратном пути в город не заметил поворота и врезался в дерево. Когда его выписали из больницы, он начал всем рассказывать, что Сиди Рахал заставил машину съехать с дороги. Мужчины много об этом говорили, вспоминая других святых безумцев, умевших наводить порчу на моторы и тормоза. Имя Сиди Рахала не сходило с языков, и люди с уважением прислушивались к его бессвязным речам.

За лето он накопил больше денег, чем год назад. Вернулся к себе и купил дом побольше, а старый сдал. Каждый год он покупал все больше домов и земли, пока, наконец, не стало ясно, что он превратился в состоятельного человека.

И всегда, стоило упасть первым дождям, он объявлял друзьям, что уезжает за границу. После этого тайно покидал город, не позволяя никому себя провожать. Такой распорядок жизни очень радовал его — если удача не изменит, он сможет жить так и дальше. Человек предполагал, что Аллах не возражает, если он притворяется одним из Его святых безумцев. А деньги — просто награда за то, что он дает людям возможность подавать милостыню.

Однажды зимой к власти пришло новое правительство и распорядилось прогнать с улиц всех нищих. Человек обсудил это с друзьями — все считали это прекрасным решением. Он с ними соглашался, однако ночью новость не дала ему заснуть. Не было речи о том, чтобы вернуться, рискуя всем просто потому, что ему нравится этим заниматься. Скрепя сердце, он решил провести лето дома.

И лишь когда прошли первые недели весны, он осознал, как дорого это ему — уезжать прекрасной звездной ночью на автобусе в другой город, и с каким облегчением он всякий раз забывает обо всем на свете и начинает жить как Сиди Рахал. Теперь он понимал, что его жизнь здесь, дома, была в удовольствие лишь потому, что он знал: наступит миг, и он оставит ее ради иной жизни.

Когда пришла жара, ему стало совсем беспокойно. Он скучал, он потерял аппетит. Друзья, заметив в нем такую перемену, советовали отправиться в путешествие, как он это делал обычно. Они утверждали, что известны случаи, когда люди умирают, изменив своей привычке. И снова лежал он ночами без сна, пока все же не решил втайне вернуться. Едва решение было принято, как ему сразу полегчало на душе. Будто раньше он спал, а сейчас внезапно проснулся. Он сообщил друзьям, что едет за границу.

Той же ночью он запер дом и сел в автобус. На следующий день радостно прошагал по улицам к своему любимому месту у мечети. Прохожие смотрели на него и говорили друг другу:

— Он все-таки вернулся. Видишь?

Он просидел там спокойно весь день, собирая деньги. Погода стояла жаркая, и под вечер он направился за городские ворота к реке, чтобы искупаться. Раздеваясь за олеандровыми кустами, он поднял голову и увидел, что к нему по берегу спускаются трое полицейских. Не дожидаясь их, он подхватил туфли, набросил на плечи *джеллабу* и побежал.

Иногда он шлепал прямо по воде, иногда поскользнулся в грязи и падал. Полицейские что-то кричали ему. Гнались они за ним недолго, потому что ослабели от

хохота. Не зная этого, он все бежал и бежал вдоль реки, пока не сбилось дыхание и не пришлось остановиться. Он надел *джеллабу* и туфли и подумал: в такой одежде в город вернуться я не могу, да и в какой-то другой — тоже.

Дальше он пошел уже медленнее. Настал вечер, и он проголодался, но вокруг не было ни людей, ни домов. Спал он под деревом, укрывшись одной лишь рваной *джеллабой*.

На следующее утро есть хотелось еще больше. Он встал, вымылся в реке и двинулся дальше. Весь день шел он под палящим солнцем. Под вечер сел отдохнуть. Попил воды из реки и огляделся. На холме у него за спиной стояла полуразрушенная усыпальница.

Отдохнув, он поднялся к строению. Внутри, в центре большой комнаты под куполом, была гробница. Он сел и прислушался. Кукарекали петухи, изредка доносился собачий лай. Он представил, как бежит к деревне и кричит первому встречному: «Дайте же мне кусок хлеба во имя Мулая Абделькадера!» Он закрыл глаза.

Проснулся он в сумерках. У входа кучкой стояли мальчишки и смотрели на него. Заметив, что человек открыл глаза, они засмеялись и стали пихаться локтями. Затем один швырнул внутрь сухую корку хлеба, и она упала рядом с ним. Вскоре все они монотонно заголосили:

— Он ест хлеб! Он ест хлеб!

Они какое-то время поиграли в эту игру, вместе с корками бросая комья земли и даже вырванные с корнем растения. На их лицах он видел изумление, злобу и презрение, но сквозь все эти изменчивые чувства пробивался неумолимый блеск собственности. Он вспомнил о старом *медждубе*, и его охватила дрожь.

Вдруг мальчишки пропали. Он услышал, как они, пронзительно крича, побежали наперегонки к деревне.

Хлеб немного подкрепил его. Он уснул там же, а еще до рассвета вновь отправился вдоль реки, благодаря Аллаху за то, что позволил ему незаметно миновать деревню. Он понял, что раньше дети убегали от него лишь потому, что знали: он для них не готов, они пока не могут присвоить его. Чем больше он думал об этом, тем сильнее надеялся никогда не узнать, каково быть подлинным *медждубом*.

В тот день, обогнув излучину реки, он вдруг наткнулся на городок. Отчаянный голод пригнал его прямо на рынок. Не обращая внимания на людские взгляды, он зашел в одну палатку и заказал миску супа. Доев и уплатив, вошел в другую и попросил тарелку рагу. В третьей съел мясо на вертеле. Затем пошел к хлебным рядам — купить в дорогу две буханки хлеба. Когда он расплачивался, по плечу его похлопал полицейский и велел показать бумаги. Бумаг у него не было. Что тут еще сказать? В околотке его заперли в вонючую подвальную каморку. В этом чулане, в мучениях провел он четыре дня и четыре ночи. Когда, в конце концов, его вывели и допросили, он не решился сказать правду. Вместо этого он нахмурился и произнес:

— Я Сиди Рахал.

Ему связали руки и втокнули в грузовик. Позже, в больнице, его привели в сырую камеру, где люди смотрели, не мигая, тряслись и визжали. Он терпел там неделю, а потом решил сказать властям свое настоящее имя. Но когда он попросил, чтобы его привели к ним, охранники просто расхохотались. Иногда ему отвечали:

— На следующей неделе, — но обычно ему не отвечали вообще ничего.

Шли месяцы. Ночи, дни и снова ночи жил он вместе с другими безумцами, и настало такое время, когда ему уже стало все равно, удастся ли попасть к властям и сообщить, как его зовут на самом деле, или нет. В конце концов, он перестал думать об этом совсем.

1974

ФКИХ

Однажды днем в середине лета по деревне пробежал пес — задержавшись лишь для того, чтобы укусить молодого человека, стоявшего на главной улице. Рана оказалась неглубокой: молодой человек промыл ее в ближайшем источнике и думать о ней забыл. Но несколько человек, видевших нападение, рассказали об этом его младшему брату.

— Ты должен отвезти брата к доктору в город, — сказали они.

Когда мальчик вернулся домой и предложил поехать к врачу, брат просто рассмеялся. На следующий день мальчик решил спросить совета у деревенского *фкиха*. Старика он нашел под тенистым фиговым деревом во дворе мечети. Мальчик поцеловал ему руку и рассказал, что пес, которого никто прежде здесь не видел, укусил его брата и убежал.

— Это очень плохо, — сказал *фких*. — У вас есть хлев, в котором его можно запереть? Посадите его туда, но свяжите за спиной руки. Никто к нему не должен подходить, понимаешь?

Мальчик поблагодарил *фкиха* и направился домой. По пути он придумал обмотать молоток пряжей и ударить брата по затылку. Зная, что мать ни за что не согласится, чтобы с ее сыном так обращались, он решил, что это следует сделать, когда ее дома не будет.

В тот же вечер, пока женщина стояла у колодца, он подкрался к брату и стал бить его молотком, пока брат не упал на пол. Затем связал ему за спиной руки и отволок в сарай рядом с домом. Там он бросил его на земле и вышел, заперев дверь на засов.

Брат пришел в себя и начал сильно шуметь. Мать позвала мальчика:

— Быстро! Сбегай посмотри, что стряслось с Мохаммедом. — Однако мальчик ответил:

— Я знаю, что с ним стряслось. Его укусил пес, и *фких* сказал, что он должен сидеть в сарае.

Женщина стала рвать на себе волосы, царапать лицо ногтями и бить себя в грудь. Мальчик пытался ее успокоить, но она оттолкнула его и бросилась к сараю. Приложила ухо к дверям. Изнутри доносилось только тяжелое дыхание сына — он пытался ослабить веревки, которыми ему связали руки. Женщина забарабанила в дверь, выкрикивая его имя, но он, сражаясь с веревками, лежал лицом к земле и не ответил. Наконец, мальчик увел мать в дом.

— Так предписано, — сказал он ей.

На следующее утро женщина села на ослика и поехала в деревню повидать *фкиха*. Однако тот уехал навестить сестру в Рхафсаи, и никто не знал, когда он вернется. Поэтому она купила хлеба и пустилась в Рхафсаи вместе с группой селян, собравшихся на главный базар в округе. Ночь женщина провела на базаре, а на следующее утро, с зарей, отправилась дальше с другой группой людей.

Каждый день мальчик швырял брату еду через маленькое зарешеченное окошко высоко в стене. На третий день он кинул еще и нож, чтобы тот смог перерезать веревки и есть руками. Немного погодя ему пришло в голову, что, дав брату нож, он сглумил, ибо если постараться, можно проделать ножом дыру в двери. Тогда он пригрозил еды ему больше не давать, пока брат через окно не бросит ему нож обратно.

Не успела мать добраться до Рхафсаи, как ее свалила лихорадка. Семья, с которой она путешествовала, приняла ее в свой дом и ухаживала за ней, но лишь через

месяц смогла она подняться с соломенного тюфяка на полу. К тому времени *фких* уже вернулся в деревню.

Наконец, женщина окрепла и снова пустилась в путь. После двух дней на ослиной спине она вернулась совершенно без сил. Дома ее встретил мальчик.

— А твой брат? — спросила она, уверенная: тот уже умер.

Мальчик показал на сарай, и она кинулась к двери, громко зовя старшего сына.

— Возьми ключ и выпусти меня! — заорал тот.

— Сначала я должна увидеть *фкиха*, *ауилди*¹. Завтра.

На следующее утро они с мальчиком отправились в деревню. Когда *фких* увидел, как во двор входят женщина с мальчиком, он поднял глаза к небесам.

— На то воля Аллаха, что твой сын умер так, как он умер, — сказал ей *фких*.

— Но он вовсе не умер! — вскричала женщина. — И он не должен больше там сидеть.

Фких изумился, а потом сказал:

— Так выпусти же его! Выпусти его! Аллах милостив.

Мальчик, тем не менее, упрямил *фкиха*, чтобы тот сам открыл дверь. И вот они отправились: *фких* — верхом на ослике, мать и сын следом — пешком. Когда они подошли к сараю, мальчик вручил старику ключ, и тот отпер дверь. Молодой человек выскочил наружу, а изнутри ударило такой вонью, что *фких* быстро захлопнул дверь снова.

Они все вошли в дом, и женщина приготовила им чаю. Пока сидели и пили, *фких* сказал молодому человеку:

— Аллах пощадил тебя. Ты не должен мстить брату за то, что он тебя запер. Он сделал это по моему приказу.

¹ Сынок (*араб.*).

Молодой человек поклялся никогда не поднимать на мальчика руку. Однако мальчик боялся все равно — ему даже боязно было взглянуть на брата. Когда *фких* пошел обратно в деревню, мальчик увязался за ним — якобы, привести домой осла. По дороге он сказал старику:

— Я боюсь Мохаммеда.

Фкиху это не понравилось.

— Твой брат старше тебя, — ответил он. — Ты слышал, как он поклялся тебя не трогать.

В тот вечер за едой женщина отошла к жаровне приготовить чай. Тут мальчик впервые украдкой взглянул на брата и похолодел от ужаса. Мохаммед быстро оскалил зубы и издал горлом странный звук. Он так пошутил, но мальчик понял что-то совершенно иное.

Фкиху ни за что не следовало его выпускать, сказал он себе. Теперь он меня укусит, и я заболею, как он. И *фких* велит ему бросить меня в сарай.

Он не мог заставить себя и посмотреть на Мохаммеда еще раз. Ночью, во тьме лежал и думал об этом, не в силах уснуть. Рано утром он вышел в деревню, чтобы застать *фкиха* до того, как тот начнет уроки для своих учеников во *мсиде*.

— Ну что еще? — спросил *фких*.

Когда мальчик рассказал ему, чего он боится, старик рассмеялся:

— Но у него нет никакой болезни! И никогда не было, хвала Аллаху.

— Вы же сами велели мне его запереть, *сиди*.

— Да, да. Но Аллах милостив. Теперь ступай домой и забудь обо всем этом. Твой брат тебя не укусит.

Мальчик поблагодарил *фкиха* и ушел. Он прошагал

по всей деревне и вышел на дорогу, которая, в конце концов, вывела его на шоссе. На следующее утро его подвез грузовик — до самой Касабланки. Никто в деревне больше никогда о нем не слышал.

1974

НАПОМИНАНИЯ О БУЗЕЛЬХАМЕ

Когда я был маленький, у моей матери было любимое место для чтения: если мама собиралась читать долго, она садилась в старый шезлонг, всегда стоявший в углу восточной комнаты, подальше от стен, чтобы свет падал с обеих сторон из-за плеч. Спинка шезлонга была завалена множеством пуховых подушечек. В нем приятно было развалиться. Иногда по утрам, пока мама не проснулась, я на пару минут садился в шезлонг. Однажды она застучала меня и высмеяла.

— Совсем старичок, разваливаешься! — дразнила меня она. — Ты же растущий организм. А это кресло для взрослого.

В летний день приятно было поваляться в саду. Над головой в эвкалиптах и кипарисах шипел ветер. Сверху совсем близко очень быстро проносились клубки тумана, порой задевая верхушки деревьев и пикируя вниз сквозь ветки. Однажды целое лето, вернувшись из школы в Англии, я занимался там прямо на земле, за кустами или живой изгородью, в любом укромном уголке, подальше от дома.

Я ложился на живот в жарком саду и разглядывал под срезанными копьями травинок миниатюрный лес, где жили муравьи. Почти все они были крошечные и не беспокоились из-за коврика, который я расстелил на их владениях. Если же его замечали большие красные муравьи, они тотчас нападали, и оставалось только перенести коврик куда-нибудь еще.

И так было ясно, что *медина* — запретная территория. Мама очень рассердилась бы, узнай она, что я бываю там один. Но время от времени я ходил по

какому-нибудь делу, и мне выпадал случай проскользнуть в старый город и побродить по узким переулкам. Мне очень нравилось, как резко они меняли направление и зарывались под дома. В самом деле, нужно было пройти под домом, чтобы попасть в тот переулок, где стоял бордель Мамаши Тьемпонады. Он был не единственный, зато самый большой. Все дома в этом переулке были борделями. Женщины стояли в дверях и заговаривали с прохожими. Мне это место казалось загадочным и зловещим. Казалось вполне естественным, что мама не пускает меня в *медину*.

Однажды вечером я стоял в переулке у борделя Мамаши и смотрел на дверь, она открылась, и вышел парень-марокканец. Он на секунду замер и, глядя на полную луну прямо над головой, свистнул ей и ушел. Очень странно, подумал я и запомнил это. Свист прозвучал так обыденно и задушевно, словно они с луной были закадычными друзьями. Спустя пару лет, когда Бузельхам пришел к нам работать, мне показалось, что он и есть тот самый парень.

Возможно, мне было бы лучше, если бы я общался с отцом, но этого не случилось. Мне никогда не приходило в голову задуматься, что он за человек. Ему было за пятьдесят, когда я родился, и к тому времени, кроме гольфа, его почти ничего не интересовало. Он не обращал внимания на меня и очень мало — на мать. Просыпался на заре, плотно завтракал и отправлялся на своей любимой лошади в загородный клуб в Бубане. До вечера мы его не видели. Женщины говорили матери:

— Полковник Дрисколл — такой импозантный на своем коне!

Их мужья приезжали в загородный клуб на машинах. Я был уверен, что они смеются у нас за спиной, потому что отец вел себя так странно.

В детстве я иногда играл с Эми — та жила на соседнем участке. Она была старше меня на пять лет, настоящий сорванец с садистскими порывами, жертвой которых я не раз становился. Ей было двадцать, когда умерла ее мать, и она осталась одна в слишком большом доме. Тогда она стала проводить почти все время с моей матерью.

Я не удивился, когда мать однажды невзначай заметила:

— У Эми нашелся покупатель на виллу «Виреваль». Она немного поживет у нас.

Вскоре Эми оказалась у нас. С годами она изменилась и теперь стала замкнутой, нервной женщиной, одержимой порядком. У нее был неприятный тик: она постоянно откашливалась. Отец пытался было разговаривать с ней, хотя и был сильно против ее присутствия. Неврастеничка, сказал он. Ненормальная эгоистка и пьет мамину энергию.

— Что такое с этой девушкой? Неужели она не может оставить тебя хоть на секунду в покое?

Мать, как всякий, кто наслаждается чужим восхищением, была благодарна даже за преданность Эми.

— Она вполне разумная девушка. Не понимаю, почему ты так против нее настроен.

Как водится, сплетники излагали основные факты вполне правдиво, но перевирали мотивы. Все были уверены, что отец ушел из дома из-за Бузельхама, хотя на самом деле он просто не мог больше жить рядом с Эми. Он терпел ее полгода. Затем, понимая, что она не собирается съезжать, а мать решительно не намерена предлагать ей перебраться в другое место, он неожиданно уехал в Италию. Мать была невозмутима.

— Отцу нужен отдых, — сказала она мне после его отъезда. Разумеется, она полагала, что он вернется.

В это самое время из ниоткуда возник Бузельхам. Отец нанял его помогать садовнику примерно за год до этого, когда Бузельхаму было шестнадцать. Он полон сорняки, сгребал листья, носил воду в нижнюю часть сада, и у дома его видели редко. Но после того, как отец уехал, он стал приходить на кухню, где горничные поили его чаем. Немного погодя он уже постоянно обедал с ними, а не сидел под деревом и ел то, что приносил из дома.

Как возникли отношения между ним и матерью? С чего все началось? Поговорить об этом с Бузельхамом было невозможно, поскольку тема эта никогда не возникала и, следовательно, ее между нами не существовало. С чего бы ни началось, я знаю, что это мать все затеяла.

Часто Бузельхаму было нечем заняться — он лишь курил *киф* в кафе, и не всегда находил компанию перекинуться с ним в картишки. Как правило, днем мужчины работали и только потом приходили в кафе. Бузельхаму не было нужды работать. С тех пор, как полковник уехал, он был с женой полковника. Ей не хотелось, чтобы он работал, — тогда бы ему пришлось вставать очень рано, а она любила спать рядом с ним допоздна. Все мужчины в кафе знали, что у Бузельхама богатая женщина-назарейка, которая дает ему все, что он захочет.

Именно это Эми в конце концов и начала втолковывать маме снова и снова. По мнению Эми, ей не следовало быть с Бузельхамом не только из-за того, что у него другая культура, религия и социальный статус, но и потому, что он слишком молод для женщины ее

возраста. Обычно мать просто отвечала, что не согласна, но порой кое-что добавляла. Однажды я услышал, как она говорит:

— Ты пытаешься влезть в мою личную жизнь, Эми, а на это у тебя нет права.

Вскоре после этого Эми решила съездить в Париж, куда ее пригласила подруга. Она собралась очень быстро — и вдруг ее не стало. Мама ограничилась репликой:

— Эми — очень славная девушка, которой, я боюсь, еще предстоит всему научиться. Не знаю, удастся ей это или нет.

В тот день, когда Эми уехала, я забрел в ее комнату и осмотрелся. Тут не мешало хорошенько убрать. Я отодвинул от стены конторку и заглянул за нее. Внизу, прижатая задней ножкой, валялась скомканная глянцева-я фотография Бузельхама в плавках на пляже в Сиди-Канкуше. Ссора Эми с матерью предстала в новом свете. На секунду я даже пожалел, что она уехала; было бы забавно посмотреть, что несколько наводящих вопросов могли бы вытянуть из ее тонких, поджатых губ. Она хотела заполучить Бузельхама? Или мать прервала то, что уже происходило между ними, когда Бузельхам стал проводить ночи в хозяйской спальне?

Сплетня несколько месяцев гуляла по Танжеру. Впервые я услышал ее от англичанки; она только что приехала и не знала, что героиня истории — моя мать. Жена полковника каждую ночь пропадала в темных уголках сада, встречалась с садовником, простым мальчишкой, обычным марокканским работником. Когда полковник не смог больше терпеть эту ерунду, он уехал, после чего она спокойно взяла слугу в дом и живет с ним.

— Мне сказали, она даже подарила ему гоночную машину! — добавила англичанка с притворным смехом.

— Возможно, — ответил я.

Нет сомнения в том, что мать во многих отношениях изменилась за то время, пока Бузельхам жил в доме. Она купила ему подержанный «порш» с откидным верхом, что было совершенно не в ее духе. Она стала рассеянной, перестала интересоваться тем, что наполняло ее жизнь прежде. Когда я сообщил, что хочу съехать из дома и снять квартиру в городе, она лишь подняла брови.

— Будешь приходить на обед дважды в неделю, — вот и все, что она сказала.

В конце концов, ее отношение к Бузельхаму изменилось из-за длинной и замысловатой саги с участием его сестры. Выяснив все детали истории, мать тут же решила избавиться от него. Тем не менее, единственный способ, который она придумала, был настолько радикальным, что оказался и смехотворным. Мать прожила в этой стране много лет, и поведение Бузельхама не должно было ее так глубоко задеть — особенно потому, что оно не имело к ней ни малейшего отношения. То, что он сделал, мне кажется достаточно естественным, но опять-таки — я здесь родился. Впервые я услышал все от самого Бузельхама вскоре после того, как ушел из дома и снял квартиру в городе.

Я ужинал в гостях и вернулся домой пешком. С пролива надвигалась гроза. Вскоре по окнам забарабанил ливень. Очень ярко сверкнула молния, и электричество погасло. Я достал карманный фонарик, зажег несколько свечей и какое-то время постоял перед камином. Гроза откатилась и вернулась, дождь полил сильнее. В разгар всего этого кто-то постучал в дверь, я открыл, и там оказался Бузельхам, совершенно мокрый.

Он выглядел таким же необузданным и самодовольным, как всегда, несмотря на струи дождя, бежавшие по

его лицу. Он тотчас снял туфли и носки, присел перед камином и чуть ли не внутрь залез, пока рассказывал свою историю. Каждый день, сказал Бузельхам, они видятся с его другом-адвокатом, который ему помогает.

— В чем? — спросил я.

Избегая прямого ответа, он повернулся ко мне на пятках и спросил, не дам ли я ему займы десять тысяч франков. Адвокату нужны деньги на фотокопии и нотариуса. Его гонорар будет зависеть от успеха этого дела. Как только я согласился дать ему деньги, история начала проясняться.

Некий богатый торговец из *медины*, склонный к удовольствиям сумеречного часа, каждый день сидел в кафе на окраине города. Здесь он мог смотреть на три стороны и видеть сотни людей, идущих по дорогам, поблизости и вдалеке. Каждый день то рано, то позже мимо проходила девушка с пожилой женщиной, которая несла корзину. Торговец садился за столик на тротуаре, лицом к той стороне, откуда они всегда приходили, чтобы издалека их заметить и смотреть на девушку. Каждый вечер он видел, как ее глаза ищут его среди людей в кафе, но, на секунду встретившись с ним взглядом, она не подавала вида, что подозревает о его присутствии.

«Сколько лет я не видел такой красавицы?» — вздыхал торговец. Он замечал эту пару на дороге под эвкалиптами, задолго до того, как его видела девушка, потому что они шли в свете заходящего солнца. Наступала секунда, когда девушка узнавала его и тут же склоняла голову. Богатый торговец, не отводя глаз, смотрел, как она подходит. Ему казалось, что она не идет, а танцует, и когда она проходила мимо — порой так близко, что он мог протянуть руку и коснуться ее *джеллабы*, — он горевал, что с ней нельзя заговорить.

Быть может, когда-нибудь ее выпустят одну, думал он и терпеливо ждал.

Этот день, наконец, настал: торговец увидел, что она идет одна, несет корзину, и с ней никого. «Ах», — тихо вздохнул он, потирая кончики пальцев. Он подозвал официанта и заплатил. Затем дождался, пока девушка пройдет. Когда она повернула за угол, торговец поднялся и двинулся за ней.

Он поравнялся с ней, лишь когда она свернула на другую улицу. «Можно вас подвезти куда-нибудь?» — спросил он.

«Вы можете подвезти меня до дома, если хотите», — ответила девушка.

Не это богатый торговец надеялся услышать. Тем не менее, он привел ее к машине, стоявшей поблизости.

Я принес Бузельхаму чашку кофе. Он сделал глоток, не поднимаясь от огня, и несколько минут ничего не говорил. Потом оставил тон сказителя и продолжал обыденно, словно обобщая историю, которую я уже знал.

— Я как раз выходил из *бакала* и увидел его «мерседес» далеко впереди. Причем не с бельгийским номером. С марокканским, а это означает деньги. И тут я перестал верить своим глазам, потому что дверца открылась, вышла моя сестра и побежала за угол. Я знаю, она меня видела, но не думала, что я заметил ее. Первой моей мыслью было пойти за ней и убить ее. Пока я там стоял, машина уехала. Я не видел того человека и не записал номер.

— Какой смысл ее убивать? — спросил я, хотя знал, что для него это один из тех бессмысленных вопросов, которые задают европейцы. К моему удивлению, он рассмеялся и ответил:

— Я не так глуп. Я еще и пожалел ее, когда она осталась в доме одна и я увидел, как она боится.

«Я видел, как ты выходила из машины, — сказал я. А потом добавил: — Ты говоришь, он всегда сидит в кафе “Дахла”. Завтра ты мне его покажешь. Когда будешь проходить мимо него, начни кашлять».

Так она и сделала, и когда он вышел из кафе, я пошел за ним и увидел, как он садится в свой «мерседес». Я смотрел, как он уезжает, и думал: «Может быть. Может быть. Иншалла!»

Выяснив личность этого человека по его номерному знаку, Бузельхам начал задавать вопросы — сначала *кау-аджи* в кафе, а затем сузил поиски до нескольких торговцев и владельцев торговых рядов в городе.

— Я узнал о нем больше, чем знает его мать, — сказал Бузельхам. — Он владелец половины текстильного завода на плазе Моцарта и жилого дома на Бульваре-де-Пари. И трех рынков. Так что однажды вечером, придя домой, я позвал сестру на крышу, где мы могли поговорить, и спросил: «Тебе нравится этот Касри?»

Она смутилась и завозмущалась: «Я даже не знаю его. Как я могу сказать, нравится ли он мне?»

Я разозлился и схватил ее. «Ты не знаешь, нравится ли он тебе. Но ты села в его машину, была рядом с ним. Что это значит?»

Она подумала, что я сейчас ее ударю, закрыла руками лицо и отвернулась. Конечно, у меня было право ее побить. Но я дал ей понять, что я на ее стороне и не скажу родственникам. На следующий день я даже купил ей новую одежду, чтобы Эль-Касри видел, как хорошо она выглядит, если приоденется. А сам решил подождать и посмотреть, произойдет ли все само собой.

Он продолжал ее домогаться, а она по-прежнему его отвергала. Затем однажды моему отцу, матери и всей семье понадобилось поехать в Мекнес с ночевкой, только

мы с сестрой остались дома. Я подумал: переночую в Тетуане и посмотрю, что произойдет. Так что я сказал ей: ночью меня не будет, а ей придется переночевать у тетки. И попросил ее не говорить о моей поездке в Тетуан родителям, потому что я, конечно, обязан был оставаться в доме и присматривать за ней. Я подумал: если чему-то суждено произойти, это случится сегодня ночью. И был прав. Я поехал в Тетуан, а она пошла к нему домой; через некоторое время она пришла ко мне и сказала, что, похоже, в животе у нее ребенок.

Я тотчас повез ее в Гибралтар, в самую большую больницу. Мы провели там четыре дня, я получил документы по каждому тесту; никакого сомнения, сказали они: внутри есть ребенок.

Поскольку других важных дел не было, Бузельхам продолжал каждый день ходить в кафе на окраине города. Здесь он разговорился, а в конце концов — и завязал дружбу с богатым торговцем. Даже после того, как он привез сестру из Гибралтара, и адвокат занялся подготовкой стратегии, даже после того, как адвокат посоветовал богатому торговцу, что единственный способ избежать скандала — попросить девушку выйти за него замуж, прежде чем семья узнает о ее беременности, Бузельхам ежедневно сидел с ним в кафе, выслушивая историю его бурного романа.

«У нее есть брат, — сказал богатый торговец. — Вот кто хочет моей крови. Шлюхин сын обо всем прознал».

Тогда Бузельхам сказал: «Но почему шлюхин сын? Он позволяет тебе жениться на ней. Если бы он хотел, мог бы засадить тебя в тюрьму сегодня же. Ты ненормальный? Она была девственницей».

Богатый торговец согласился, что все так и есть. Не прошло и недели, как он явился к отцу Бузельхама свататься.

Бузельхам закончил рассказ, и я посмотрел на него, стараясь разглядеть его лицо, но видел лишь абрис головы на фоне пламени, а в комнате горели только две свечи.

— Ему не слишком понравится, когда он узнает, что ты ее брат, — сказал я.

Он только рассмеялся.

— Когда-нибудь, — сказал он. — Когда-нибудь.

Я принес новое полено, и он, наконец, поднялся.

Бузельхам особо не скрывал, что сыграл такую сомнительную роль в замужестве своей сестры; напротив, он подробно все обсуждал со своими марокканскими друзьями. Для него это было вопросом деловой сметки, и успехом он по праву гордился. Таким образом, по Танжеру начали гулять несколько искаженных версий этой истории. Мать слышала их, но считала баснями, которые разносят злые языки. И только через несколько месяцев после того вечера, когда Бузельхам приходил ко мне, она заставила себя во все поверить. И тут же повела себя безрассудно.

— Все это подло! — заявила она. — Я избавилась от него.

Она уволила его мгновенно, без каких-либо объяснений. Заплатила ему и велела немедленно покинуть дом. Через два дня она отправилась в Италию. Мне было ясно: она ожидала, что он прибегнет к шантажу, но ей было стыдно говорить об этом. Если бы только она обмолвилась о своем страхе, я постарался бы ее успокоить. Думаю, я знал Бузельхама лучше, чем она.

До того дня, когда он окликнул меня из кафе «Ракасса», я не видел его несколько недель. Мы сели в дальнем углу, где пахло отсыревшим цементом и угольным дымом. Бузельхам упомянул о матери, горестно качнув головой. Он не вдавался в детали — сказал

только, что потерял работу садовника, когда мадам уехала. Он понимал, что она обиделась на что-то, но ее взбалмошность его обескуражила и расстроила. Ему казалось, что его выгнали из дома ни за что. Все же, когда мы расставались, он сказал:

— Будешь писать мадам, скажи, что Бузельхам передает привет.

Я не передал ни этого привета, ни последующих. Мать продала дом, не возвращаясь в Танжер, и мне казалось, что жить в Италии с отцом ей довольно скверно и без моих напоминаний о Бузельхаме.

1976

ИСТИХАРА, АНАЙЯ, МЕДАГАН И МЕДАГАНАТ

Нет ничего удивительного, что в Сахаре, где воздух, свет, даже небо наводят на мысль о некой неизведанной планете, особенности человеческого поведения тоже зачастую выглядят непривычно. Поведение строго определено, простора на личные варианты немного. Если обстоятельства дают возможность напасть и ограбить, это в порядке вещей; более того, такого поступка требует обычай.

Это общеизвестно. Не столь известны два обычая: *истихара* и *анайя*. Первое — заклинание, которое нужно произносить перед сном: молящийся просит Аллаха ниспослать сон, который позволит разрешить затруднения. Молитву нужно произнести полностью четыре раза и лишь затем просить подробно объяснить, что следует делать спящему, когда он проснется. Молитва может быть услышана, а может и не быть. Самому просителю решать, стал ли его сон следствием *истихары*, и если он считает, что это так, — верно истолковать его содержание. Практика выглядит здоровой: она не только исходит из того, что сны могут врачевать, но и предлагает мусульманам удобный способ их производства.

Анайя, напротив, является обычаем, лишенным смысла вне феодального общества. Это последняя хрупкая надежда, дарованная солдату, потерпевшему поражение в бою. Если ему удастся подползти к одному из врагов и полностью сокрыть голову под складками его бурнуса, он автоматически спасается от смерти. Помилование, однако, связывает его с владельцем бурнуса до конца жизни. Он переходит в полную собственность своего врага, и тот несет за него ответственность.

К тому времени, когда произошли описанные ниже события — то есть, примерно сто лет назад, — *анайя* все еще была неотъемлемой частью сахарского военного этикета.

Однажды в Уаргле появился человек по имени Медаган; его сопровождали семеро сыновей. Они пришли к чаамбийцам и поведали им, как за некий проступок их собственное племя *келхела-туарег* изгнало их из родных мест в Хоггаре, как они скитались и страдали с тех самых пор. Чаамбийцы выслушали и взяли их жить к себе. Вначале одолжили им несколько своих верблюдов, позже дали займы немало фиников и пшеницы. Туареги смогли свободно перемещаться — именно этого, похоже, им и было нужно. Несколько месяцев они прожили недалеко от Уарглы, охотились и набирались сил. Затем вернулись в Уарглу, отобрали у чаамбийцев двадцать лучших верблюдов и увели их в необитаемый край. Там, прячась в глубоких ущельях безлюдной земли Тадемаит, прожили два года или больше, выбираясь из своего схрона, только чтобы нападать на проходящие мимо караваны. Наконец, — по всей видимости считая себя неуязвимыми, — они набрались наглости подъехать к самым воротам Эль-Голеи и увести тридцать верблюдов из-под носа владевших ими чаамбийцев.

Случилось так, что при налете со своими соплеменниками был один чаамбиец из Уарглы. Один из тех, кто в свое время согласился одолжить Медагану пшеницу. Когда он рассказал об этом остальным, мужчины решили пуститься в погоню за туарегами. Несколько дней спустя шестьдесят человек отправились в путь на быстрых *мегара*.

Медаган и его сыновья вернулись в свое убежище. Они понимали, что за ними могут отправить погоню, но были убеждены, что чаамбийцы не решатся забираться в лабиринт ущелий и узких ходов в этом краю. Тем не менее, перед тем как лечь спать той ночью, Медаган помолился о сне, который бы определил его поведение в случае, если бы чаамбийцы все-таки их нагнали. Утром, когда Медаган проснулся и с ужасом понял, что ему не снилось совсем ничего, или же сон невозможно вспомнить, он посоветовался с сыновьями. Те сочли это дурным знаком и уговорились, что если им придется вступить в бой, они будут просить об *анайе* и вновь отдаваться на милость чаамбийцев, на сей раз — навсегда. Затем Медаган послал своего младшего сына, еще совсем ребенка, с несколькими захваченными верблюдами в Эль-Голею, чтобы тот их продал. Поскольку семейство только что оттуда вернулось, решение это, вероятно, говорило о том, что Медаган ожидал серьезной беды и надеялся спасти хотя бы младшего сына. Это ему удалось: мальчик благополучно добрался до Эль-Голеи с верблюдами.

Чаамбийцы, тем временем, с легкостью отыскивали банду и слышали Медагана: он кричал им, что Аллах посоветовал ему просить *анайю*. Видя, что туареги даже не пытаются себя защищать, чаамбийцы решили вопрос, послав к ним своих черных рабов. Это исключило возможность *анайи*, поскольку раб ее даровать не может. Черные перерезали всем глотки и тем завершили сагу о Медагане и его сыновьях.

Это произошло в 1863 году, когда французы всячески старались распространить свое господство на юг, в пустыню. Так начался двадцатилетний период жесточайшего беззакония по всей Сахаре. Повсюду собирались

банды, нападали на оазисы, грабили караваны и зверски убивали путников. Отчасти это было закономерным возмездием за французское вторжение, но, в основном, являлось обычным произволом, несомненно вызванным моральным упадком, сопутствующим длительному присутствию неверных.

Когда в той же части Тадемаита, где нашел свою смерть Медаган, истребили небольшую группу людей из племени *мехадема*, народное воображение в Уаргле тотчас приписало налет Медагану и его сыновьям, которые, как говорилось, мстили из могилы за то, что чаамбийцы отказали им в *анайе*. С того времени, поскольку налеты множились, каждая новая *раззия* приписывалась призракам «медаганата», и слово вскоре стало сахарским синонимом разбойника. Всякий мелкий воришка, подстрекатель, мародер, вероотступник или грабитель с большой дороги назывался медаганцем. Осталась лишь пустая оболочка слова; его первоначальное и последующее значения затерялись в беспорядке, царившем в тех краях. Нападения стали организованными и приняли явный политический характер. Теперь и сами чаамбийцы решили стать разбойниками и с 1871 использовали слово «медаганат» как свое официальное название.

В 1876 году они хвастались, что убили трех французских священников — отцов Польмье, Меноре и Бужара. Французская пресса ответила истерикой: положение в Сахаре совершенно невыносимо. Между тем, нападения множились и становились более жестокими. «Медаганат» проводил набеги у тунисской границы, в Ливии, Марокко и по всей алжирской пустыне. Лишь спустя несколько лет, в 1883 году, легкомысленно задумав напасть на группу регибов, они наконец встретили противника, который смог их уничтожить.

В самом начале боя многие медаганцы, предчувствуя вероятное поражение, переметнулись напрямик в «регибат». Другие, едва стало ясно, что победить не удастся, попробовали, как и первые носители этого имени, добиться *анайи*. Но женщины регибов, жившие с ними в лагере, настоятельно требовали от своих мужчин не идти на эту уступку. Таким образом, регибы были обязаны изрубить «медаганат» на кусочки мечами, чтобы не дать им прикоснуться к складкам своих накидок. Более того, женщины настаивали, что даже те, кто сдался с самого начала, должны быть убиты. Это было серьезным нарушением закона пустыни, но чтобы угодить им, мужчины перерезали несколько дюжин глоток, и женщины наконец умолкли.

Из этого примера следует, что ни *анайя*, ни *истихафа* не принесли желанного результата, и все же произошло совсем не то, что случилось бы, если б эти обычаи не практиковались. Мусульманину неудача Медагана при попытке *истихафы* явлена самим фактами. Человек может молиться, но если он лишен благодати, молитва не будет услышана. После того, как Медаган предал своих защитников, он лишился права на связь со Всевышним. А решив, что ночь без сновидений означает, что он должен добиваться *анайи*, причем — выйти и просить ее немедленно, даже не пытаясь защищаться, — он несомненно навлек на себя поражение. Для чаамбийцев такое поведение могло быть лишь свидетельством трусости; таким образом, отправив рабов, чтобы те разделились с разбойниками, они продемонстрировали еще и презрение. Судя по всему, Медаган и его сыновья уже не подпадали под обычное действие *истихафы* и *анайи*. Многие чаамбийцы, ставшие «медаганатом», однако, были бы

анайей спасены, если бы рядом с регибами не оказалось женщин.

Так что не было ни *истихары*, ни *анайи*, Медаган не был медаганцем, а «медаганат» никогда не слышал о Медагане.

1976

ЧТО ИСЧЕЗЛО И ЧТО ОСТАЛОСЬ

Танжер — если бы я переезжал в район Айн-Чкаф, я б ни за чем не постоял, только бы рабочие установили посреди дворика фонтан. Вода падала бы в мраморный бассейн и стекала по мраморным желобам в канаву. Говорят, бегущая вода успокаивает душу перед молитвой. Иной раз, пожалуй, даже слишком. Пример: известная история Хаджа Аллала, познавшего горе не по собственной вине.

— Будто наступил на мину, — объяснял один студент богословия, — только мина была невидимой, и не раздавалось ни звука, когда она взорвалась. Никто ничего не понял. Он стоял, смотрел на ручей. Затем вошел в мечеть. Нам всем казалось, что он пробыл там минут пять. Но в том месте, куда он провалился, прошло два года. Он пытался это нам растолковать. Мы отвезли его домой и велели жене уложить его в постель и хорошенько укрыть.

Есть история о *фкихе*, что пару столетий назад давал уроки в здешней мечети. От его жизненного пути не осталось бы и следа, если б не одно необъяснимое злоключение духа: человек, должно быть, наткнулся на одну из тех редких трещин — на открытый разлом, так сказать, в поверхности времени, — и провалился туда.

Другой *фких*, на сей раз — в Хаджра-ден-Нахале, — говорят, проскользнул меж двумя мгновениями и провалился в глубокий колодец времени. Случилось это, когда он мылся в ручье у мечети. Он сидел на корточках у бегущей воды, а мимо в мечеть на молитву шли два *толба*. Они беседовали. Позже *фких* утверждал, что слышал только одну фразу: «Во мгновение ока». Похоже, это

и послужило сигналом. Все вокруг него перестало существовать, и он очутился во мгле.

Во всех вариантах рассказа решающим для героя является вход в этот пузырь времени. Если верить нахалийцу, два ложных года он провел в Индии невидимкой. Все это время он лишь наблюдал, как работает знаменитый ювелир. Когда же его выбросило из временной ловушки, и он вернулся к ручью у мечети, секреты индийского мастера сохранились, и *фких* сразу воспользовался этим знанием, тоже став золотых дел мастером. Его слава искусного ремесленника разлетелась по всему исламскому миру, так что индийский ювелир, прослышав об этом, не мог успокоиться, пока не посетил Марокко и не увидел узоры своими глазами. На свою беду он отправился в путь с женой. Развязка и суть истории для тех, кто ее рассказывает, — в двойной победе нахалийца. Марокканец не только усовершенствовал узоры индийца, но и увел у того жену.

Другой невезучий *фких* пробыл во временном пузыре женщиной, но вернулся в мир с большой мудростью.

Великолепный рассказ можно написать по саге о хаддауитах и их падении. Говорят, их святой покровитель дни напролет курил *киф* из *наргила*¹; еще семь-восемь лет назад последователи курили у развалин его гробницы. Братство было беспощадно уничтожено властями. До сих пор иногда можно встретить человека, бредущего по дороге в пыльных лохмотьях и с дикой прической хаддауита, но поскольку секты больше нет (и, что важнее, у нее нет гнезда), человек такой больше не пользуется уважением, какое дало бы

¹ Кальян (*араб.*).

ему братство, а раз так, большинство обывателей считают его обычным безумцем.

По мнению властей, хаддауиты были вовсе не религиозной сектой, а организованной шайкой разбойников, которых следовало отстреливать. Если не считать их сверхъестественной власти над козами, позволявшей в больших количествах красть этих животных по всему северному Марокко, и того, что они, угрожая магическими заклинаниями, вымогали деньги у крестьян, похоже, не было веских причин их преследовать и истреблять. Хотя, может, все дело в том, что они построили крепость и заперли в ее подвалах изрядное число женщин. Хаддауиты утверждали, что женщины пришли по собственной воле и сами захотели вступить в братство. Так это или нет, но после того, как женщины присутствовали при исполнении обрядов, на улицу им выходить не разрешалось: их запирали в подвале и они занимались домашними делами*.

Хаддауиты придавали огромное значение еде. Каждая трапеза была пиршеством. Быть может, обжорство это вызывалось тем, что они курили очень много каннабиса, но самой еды было вдоволь оттого, что у них было много скота. Хаддауит мог уйти куда-нибудь один и через несколько дней привести сотни коз: те шли за ним, вытянувшись цепочкой. Уже этого было довольно, чтобы вселить страх в сердца крестьян. Видимо, никто в точности не знал, как они навязывали животным свою волю, но все полагали, что это особое искусство, на освоение которого требуются время и терпение. Если предположить, что люди учились такому, ложась посреди стада и беседуя с животными по ночам, когда

* Это легенда. Недавно я осматривал святилище и никаких подвалов не обнаружил. — *Прим. автора.*

те спят, то вполне возможно. Хаддауит, лежавший в пыли Марракеша сорок лет назад, «обратился» козлом, пока я за ним наблюдал, и передо мной оказалось тело человека с козлом внутри: словно козел сумел обрести видимую форму человека, оставаясь при этом несомненно козлом. Какое бы эзотерическое знание хаддауиты ни открыли, злоупотребление им и привело их к гибели.

У людей, живущих сегодня в деревне, *джинн* — общепринятая норма повседневной жизни, пусть и жуткая. Мир *дженун* так близок, что становится не по себе. Для марокканцев вопрос даже не в том, чтобы вызывать их на помощь, а в том, как их избегать. Их среда обитания — всего на несколько футов ниже нашей и полностью копирует наземный пейзаж. Каждое дерево, камень и дом имеют точное соответствие под землей. Единственное отличие в том, что небо там — из земли, а не из воздуха, поэтому там царит мрак. Но поскольку нижний мир точно воспроизводит верхний, выходит, что *дженун* отлично приспособлены для жизни внизу, да и там им больше нравится, чем у нас. Беда случается, когда они выходят и принимают облик человека или зверя: они наши давние враги, чужеродное племя, вечно ищут лазейку, чтобы проникнуть в наши ряды, а удаётся им это простым контактом с нами.

Как только *джинн* явил вам себя, ваша жизнь меняется. Вы можете заподозрить его влияние или присутствие всякий раз, когда что-то идет не так, как задумано, если в каких-то обстоятельствах возникает подозрительный или же необъяснимый элемент, — словом, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то непонятным. Это предостережение: вы беретесь за поиски *джинна* и рано или поздно встречаете его и узнаете, в каком бы облики ни нашли. Важнее всего правильно повести себя с ним в этот момент.

Неудача в схватке с *джинном* может повлечь за собой годы притеснений или болезней, а может оказаться смертельной.

Прежде всего вы должны остерегаться эмоционального увлечения *джинном* или *джиннией*. Есть множество примеров смешанных браков, но о них обычно не узнают, пока один партнер не убьет другого. «Я наблюдал за ней много месяцев и заметил, что она никогда не ела ничего с солью. Так я и понял, что она — не женщина».

Зазоры на границе двух миров, в принципе, могут открываться где угодно, но, как правило, находятся в пещерах и под водой, особенно — под бегущей водой. Если по пути вам нужно пересечь ручей, лучше держите наготове что-нибудь стальное (или хотя бы железное). Городские обычно говорят, что *дженун* не существует — уже исчезли, или, во всяком случае, не обитают в городе. В деревне, где живут по старинке и не так уж много машин и других вещей, содержащих железо, *дженун*, вероятно, по-прежнему встречаются, признают они. Но добавляют, что их в конце концов вытеснят машины, потому что *дженун* не выносят близости железа и стали. Тогда беспокоиться о них придется лишь тем, кто обитает в далеких горах и пустыне.

Несмотря на подобные умствования, *дженун* по-прежнему время от времени чинят разор в самом центре города — внезапно появляются из водостока раковины и нападают на домохозяек. Помня об этом, многие женщины не спускают в раковину горячую воду и моют тарелки холодной, чтобы не ошпарить возможного обитателя водопровода. *Дженун* славятся необычайной мстительностью в подобных случаях и обычно в отместку насылают на обидчика паралич.

Если пойдете на окраину любого города, где начинаются поля и пасутся овцы, и пороетесь в земле под осо-

быми деревьями — наткнетесь на нож. Копнете в нескольких ярдах от этого места — найдется еще один. Их там много, все складные, и в каждом зажат клочок бумаги. Даже если раскроете все найденные ножи, каждый раз освобождая мужчину от чар проклявшей его женщины, все равно не стоит тратить всю жизнь на услуги полчищу мужчин, которых вы не знаете и никогда не увидите. Для начала вам незачем ходить и выкапывать ножи — если только не подозреваете, что женщина закрыла нож на вас. Тогда — в зависимости от того, кто мог это сделать и где она, скорее всего, могла бы его захоронить, — беритесь за дело и начинайте копать.

Иногда вы натываетесь на других копающих мужчин; заметив вас, они смущаются и делают вид, будто ищут оброненную мелочь. Часто они выпрямляются, пожимают плечами и уходят. Но если отойдете чуть поодаль и подождете, они вернуться и вновь примутся копать. Есть ли справедливость в мире, где женщина простым складным ножом может причинить мужчине столько невзгод?

«Дважды я находил сложенные ножи глубоко в воде, у подножия скал в проливе. Женщины, которые так делают, — даже хуже тех, кто зарывает их в землю. Они готовы тащиться до самых скал, чтобы только испортить жизнь тем мужчинам, которых ненавидят. Невелика вероятность того, что эти ножи найдут и раскроют. И даже если бумага, на которой написано проклятие, растворилась в воде, у мужчины не будет никакой жизни, пока лезвие не откроют. У мужчины не встает оттого, что лезвие зажимает проклятие. Если я набреду на женщину, хоронящую нож, она никогда не вернется домой».

1976

ПОЛНОЧНАЯ МЕССА

Он приехал в Танжер в полдень и сразу пошел домой. Под дождем двор выглядел мрачно. Несколько мертвых банановых пальм упали и остались гнить на плиточном полу. Даже когда старая Амина, углядев его из дверей кухни, вперевалку двинулась под дождем навстречу, он все равно видел груды пустых ящичков и раму старых садовых качелей, маячившие за ее спиной.

За обедом в супе, приготовленном Аминой, он ощутил вкус своего детства. Рецепт не изменился: тыква и тмин. Внезапно он почувствовал, что по комнате гуляет сквозняк. Он позвал Амину: большое окно на кухне было разбито. Он напомнил ей, что посылал деньги на починку. Налетел ветер и снова разбил окно, объяснила она, и на сей раз просто не стали ничего делать. Он велел ей закрыть кухонную дверь. Она закрыла, но он понял, что разницы никакой.

Он прошелся по комнатам. Осталась лишь оболочка дома, который он помнил. Почти вся мебель исчезла, не было ковров и занавесок. Обнаружив, что все шесть каминов дымят, он впервые засомневался, стоит ли проводить в доме рождественские каникулы — во всяком случае, в этом году. Мать завещала ему один лишь этот дом и даже из-за него упрячилась. «Тебе не нужен дом в Танжере. Ты не будешь там жить». «Но я люблю его, — возражал он. — Я ведь в нем вырос, в конце концов». Согласившись оставить дом ему, она решила избавиться от всего ценного. Ковер достался одной подружке, высокий комод — другой, сундук — еще кому-то, так что, когда мать умерла, дом уже был примерно в нынешнем виде. Несколько раз за восемь лет, прошедших

после смерти матери, его жена требовала, чтобы он поехал и «навел порядок» в доме, но поскольку ее занимала возможность продать дом, а он этого делать не соби­рался, он ничего не предпринял.

Дом был в еще худшем состоянии, чем он ожидал. Он своевременно платил каждый месяц жалованье слугам и оттого просто­душно решил, что они постараются держать все в порядке. Он надеялся отмыть горячей водой камин от сажи, но Мохаммед сказал ему, что колонка сломалась еще за год до смерти мадам. Мастер, которого она вызвала, сказал, что колонку нужно заменить, так что после этого мать пользовалась только холодной водой. Он вытирал руки ветхим полотняным полотенцем для гостей (мать раздала все махровые) и думал мрачно: она уступила старой мадам Шрайбер ковер, стоивший несколько тысяч фунтов, но не могла позволить себе мыться горячей водой.

Он вышел в сад. Дождь прекратился, но ветер качал деревья, так что большие капли еще падали кое-где, когда ветки шевелились. Он посмотрел вверх на огромный белый фасад, поражаясь, что когда-то считал его величественным. Теперь дом походил на павильон, оставшийся от давно забытой выставки.

К вечеру совсем похолодало. Дом стоял слишком близко к морю. Морской ветер, отягощенный соленой пеной, перелетал утес и брызгал на окна. Вглядываясь в сад, он видел его лишь смутно сквозь занавесь соли, облепившей стекла. В библиотечном шкафу он нашел электрический обогреватель. Аппарат был древний, но давал хоть какое-то тепло. Закрыв жалюзи и захлопнув дверь, он взял с полки первую попавшуюся книгу и опустился на стул. Почитал немного, потом открыл книгу сзади и на чистой странице принялся сочинять

телеграмму жене. ОТМЕНИ ПОЛЕТ ДОМ ЖУТКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕМОНТ ВЕРНУСЬ ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ ЯНВАРЯ УВЫ НЕ ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ РОЖДЕСТВО СОБЕРЕМСЯ ЗДЕСЬ ПАСХУ ПОГОДА БУДЕТ ЛУЧШЕ ЛЮБОВЬЮ. Ранней весной ведь тоже бывает очень холодно, вспомнил он внезапно, но хотя бы камины будут работать.

Он дал указание в свой танжерский банк, чтобы подключили телефон; приятным сюрпризом было услышать голос оператора. Сложности начались, когда он попытался продиктовать имя и адрес. «M comme un Marseille? R comme un Robert?»¹ Взрыв щелчков, и линия оборвалась. Он повесил трубку и набрал вызов такси. Машина ждала его у почтамта.

Первые ночи он спал плохо. Простыни были влажные, одеял не хватало. Даже при закрытых окнах морской ветер носился по большой спальне. Каждое утро задолго до рассвета парочка сов усаживалась на кипарисе за домом и затевала перекличку. В детстве он слышал этот звук очень часто, но тогда крики не мешали ему спать.

Когда ветер переменялся, а дни стали солнечней, рабочие начали ремонт дымоходов. Дом был набит марокканцами в спецовках и резиновых сапогах. Шел Рамадан; они работали, ни слова не говоря, безмолвно перенося голод и жажду.

В воскресенье перед Рождеством небо было ярко-голубым и безоблачным. Из-за северного ветра казалось, что испанские горы необычайно близко. Рабочих сегодня он не ждал и потому решил прогуляться. Лужи на дороге высохли. С ветром мешались аромат растений и

1 «М» как «Марсель»? «Р» как «Робер»? (*фр.*)

печной дым. Настроение у него поднялось, и он стал обдумывать, не позвать ли несколько человек в сочельник выпить; приятнее, чем идти куда-то, а мысль провести этот вечер в одиночестве казалась ужасной.

Из кованных ворот в сотне футов впереди появилась маленькая белая машина. Подойдя, он узнал мадам Дерво. Поздоровавшись, упомянул сочельник и предложил ей привести кого угодно. Она тут же согласилась: попробует пригласить интересных людей. Он собирался ответить шутливо, но, увидев, что она говорит серьезно, придержал язык.

В оставшиеся до праздника дни он позвал еще несколько человек. Он особо не заботился, кто придет, поскольку всего лишь хотел, чтобы дом не стоял пустой в праздник, но отметил с удовольствием, что ни одного из этих людей не пригласила бы его мать.

Сочельник выдался ясный и почти безветренный. Луна, зависшая над головой, заливала двор жестким светом. Как только Амина внесла последний поднос бокалов в гостиную, пожаловал доктор. Усевшись с джинтоном в руке, он оглядел комнату и нахмурился.

— Этот дом был обузой для твоей матери. Слишком сырой для нее и такой большой, что не справишься.

Он уловил колкость в тоне доктора и парировал:

— Она сама решила жить здесь. Ей нравился дом. Она бы не согласилась переехать.

Появился священник, запыхавшийся и улыбающийся. Он впервые проводил зиму в Марокко, так что доктор описал ему климат.

Оставив их за разговором, он пошел в библиотеку и разжег в камине дрова, приготовленные Мохаммедом. Потом велел Амине принести еще свечей и расставить по комнате — ясно было, что, в конце концов, гости

переберутся в библиотеку. В других комнатах слишком мало мебели.

Во дворе послышался смех. Появилась мадам Дерво с компанией молодых людей. Направившись прямо к хозяину, она преподнесла ему огромный букет нарциссов.

— Понюхайте, — сказала она. — Я собрала их сегодня в Сиди-Ямани. Все поля в цветах.

Он поспешил на кухню, чтобы Амина поставила цветы в воду. Мадам Дерво не отставала и болтала без умолку. Она рассказала, что привела поэта, художника и философа, и все — марокканцы. Потом добавила:

— И прелестную юную индианку из Парижа. Вот видите!

Сообразив, что это был намек на ее обещание привести «интересных людей», он промолчал. В конце концов, выдал:

— Ага.

Когда они вернулись в гостиную, в центре комнаты стоял Вандевентер; было заметно, что он пришел с другой вечеринки. Священник и молодые люди перебрались в библиотеку. Услышав их смех, мадам Дерво быстро направилась к ним.

Он усадил Вандевентера рядом с доктором, налил себе неразбавленный виски и побрел в библиотеку. В дверях он услышал, как священник игриво говорит молодому марокканцу:

— Будьте осторожны. Проснетесь как-нибудь утром и обнаружите, что вы в аду.

— Нет, нет, — проворно откликнулся молодой человек. — Ад — это для тех, кто недостаточно страдал здесь.

Священник был явно огорошен.

Опасаясь, что разговор выродится в псевдорелигиозный диспут, хозяин быстро подошел к гостям.

— А вы, — бросил он марокканцу, — вы достаточно страдали?

— Даже слишком, — просто ответил тот.

Мадам Дерво поднялась и потребовала, чтобы ей устроили экскурсию по дому. Он запротестовал: кроме пустых комнат, смотреть не на что.

— Но можем посмотреть комнаты! И подняться на башню, а оттуда на крышу. Вид великолепный.

— В темноте?

— При лунном свете, лунном свете, — воскликнула она восторженно. Марокканцы одобрительно забормотали.

— Пойдемте, — сказал он, и все последовали за ним. Появились молодой француз с женой — преподаватели из лицея Реньо, они привели с собой еще одну пару из Касабланки. Ему пришлось оставить группу экскурсантов у лестницы и проследить, чтобы у новых гостей было что выпить. Налил себе еще стакан виски и пошел на экскурсию.

Часть лампочек на пути не загорелась, так что на лестнице было сумрачно. Еще не добравшись до входа в башню, они услышали рев моря внизу.

Он прошел вперед и распахнул окно, чтобы все могли выглянуть и посмотреть на прибрежные черные скалы. Кроме нескольких мигающих точек на той стороне пролива, в Испании, всюду было темно.

— Край мира, — заметил священник и поежился.

Минутой спустя, когда они вернулись в коридор, подошел юный марокканец, с которым они говорили в библиотеке, и пристроился рядом.

— Показывать мне все эти пустые комнаты очень

дурно, — сказал он. — Все равно, что дразнить едой голодного.

— Отчего же? — поинтересовался он рассеянно.

— Просто я живу с семьей, нигде нет места, так что больше всего мне нужна комната. Почти каждую ночь мне снится, что у меня есть своя комната, где я мог бы рисовать. Так, что, конечно, когда я вижу столько пустых комнат, у меня слюнки текут. Это естественно.

— Пожалуй, что да. — Откровенность молодого человека смутила его: она подчеркивала разницу в их положении и будила смутные муки совести.

Мадам Дерво шумно потребовала выйти на крышу. Он отказал:

— Там нет ограды.

— Мы постоим в лунном свете, — настаивала она. — Никто не будет подходить к краю.

Он остановился и пристально посмотрел на нее.

— Вот именно, поскольку на крышу никто не пойдет.

Мадам Дерво на секунду надулась, потом снова защебетала.

Спускаясь вниз, он обернулся к художнику, все еще шедшему рядом.

— Мне надо бы проводить здесь больше времени, — сказал он чуть извиняющимся тоном. — Но, по правде сказать, дом не очень пригоден для жилья.

— Как вы можете так говорить? Это великолепный дом.

— Ветер его насквозь продувает, — продолжал он, словно не заметив слов собеседника. — Крысы прогрызли стены, нет горячей воды, телефон постоянно отключается.

— Но все дома такие. Зато в этом в десять раз больше места.

До сих пор он делал вид, что не понимает, куда клонит художник, но теперь сказал:

— Я бы очень хотел вырезать для вас одну комнату и завернуть, чтобы вы могли забрать ее домой.

Марокканец улыбнулся:

— Зачем же забирать? Ее можно съесть прямо тут.

Он рассмеялся — ему понравилось, как марокканец обыграл его метафору.

— Ах да, можно и так, — согласился он, когда они оказались у дверей библиотеки. — Подходите к бару, — сказал он шедшим следом. — Мохаммед нальет вам, что хотите.

За библиотекой была еще одна комната, составлявшая отдельное крыло дома. В былые дни ее называли оранжереей. Теперь она была пуста, и дверь не открывали, потому что в окна дул морской ветер. Возвращаясь от бара, он заметил, что мадам Дерво распахнула эту дверь и застыла в театральной позе.

— Mon dieu! — ахнула она. — Так вот где спрятаны трубы!

В библиотеке было полно народа, так что он не успел пробраться к двери: она уже впустила художника и поэта в темную комнату. Он протиснулся и позвал их:

— Там нет света, и нельзя оставлять дверь открытой. Пожалуйста, вернитесь.

Они не ответили, и он захлопнул дверь.

Услышав вопль мадам Дерво, он подождал, затем приоткрыл дверь и придержал ее, чтобы они нашли дорогу назад.

Мадам Дерво вышла, смеясь, хоть и бросила на него осуждающий взгляд. Поэт продолжал невозмутимо критиковать Бодлера, но художник его не слушал.

— Какая студия! — пробормотал он.

— Там было страшно, такое жуткое место, ни лучика света! — сообщила мадам Дерво юной индианке.

Она была невыносима.

— Но мадам, — заметил он. — Трупам обычно нравятся тьма.

— Фантастическая студия, — гнул свое художник. — Северный свет, только деревья и море. Рай!

Хозяин посмотрел на юношу:

— Потолок в дырах. Дождем заливают. Сомневаюсь, что она хоть на что-то годится.

Доктор и священник собрались уходить, а две французские пары обсуждали кратчайший путь к месту следующей вечеринки. Вандевенгер, опираясь о стену, чтобы не упасть, спорил с девушкой-индианкой. Все стали поглядывать на часы.

— Если мы хотим успеть к полночной мессе, пора идти, — объявила мадам Дерво.

Вандевенгер медленно двинулся к группе.

— Вы когда-нибудь слышали такой вздор? — спросил он хозяина, указывая бокалом на остальных. — Три мусульманина, одна индуистка и один атеист спешат к полночной мессе? Нелепость, верно?

Хозяин пожал плечами:

— Да ладно, *de gustibus*¹. Сами знаете.

А про себя подумал пылко: «Слава богу, что есть полночная месса». Не будь ее, они бы не ушли никогда. Утром придут рабочие, как в любой день, это не их праздник.

Вандевенгер сжал ему руку:

— Пора уходить. Чудесный вечер. Я уже напился,

¹ Начало латинского выражения «*De gustibus non est disputandum*» — «О вкусах не спорят».

а мне еще вести жену на праздничный ужин в «Минзах»¹.

Хозяин проводил его до ворот, чтобы он не упал во дворе. Вандевентер забрался в машину и повел ее уверенно.

Теперь и остальные гости выходили по одному. Две французские пары попрощались, и Мохаммед запер за ними ворота. Мадам Дерво, проводя своих друзей по дворику, внезапно объявила, что нужно взглянуть на кухню, которую она аттестовала как «роскошную». За ней последовали все, кроме художника: тот чуть отстал и направился к хозяину.

— Надеюсь, вам понравится служба, — сказал он художнику.

— Нет, я не пойду с ними. Я живу тут рядом.

Подул легкий ветер. Доносились пронзительные возгласы мадам Дерво и беспечный смех Амины.

Он посмотрел на художника:

— Ладно. Оставайтесь еще на минуту. Хочу с вами поговорить.

Он принял решение. «Какая, в сущности, разница? — думал он. — Пусть пользуется комнатой. Все равно она никому не нужна».

Молодой человек кивнул, на его лице появилось заговорщицкое выражение. Когда остальные вышли за ворота, художник ничего не сказал. Он не сел в машину мадам Дерво, а захлопнул дверцу и помахал. Мадам Дерво тут же высунула голову.

— Oh, le méchant! — пробрюзжала она. — Il va avoir une gueule de bois affreuse!²

1 Пятизвездочный отель в Танжере.

2 Ах, негодник!.. Завтра у тебя будет жуткое похмелье! (*фр.*)

Художник улыбнулся и снова махнул рукой.

Хозяин смотрел на это из проема ворот. Когда огни машины исчезли во тьме дороги, он повернулся к юноше:

— Просто хотел сказать, что не возражаю, если вы будете пользоваться оранжереей.

Глаза молодого человека вспыхнули, он принялся пылко благодарить. Они пожали друг другу руки, художник вышел за ворота, оглянулся и сказал:

— Сегодня мне больше не приснится сон о студии.

Хозяин бегло улыбнулся и запер дверь. Ветер метался вокруг банановых пальм, их листья хлестали друг о друга. Он был рад своему решению. Теперь, когда он знал, что кто-то пользуется даже маленьким кусочком дома, тот выглядел реальнее. Он прошел из комнаты в комнату, задувая свечи и гася свет. Поднялся наверх и лег. Амина поставила вазу с нарциссами мадам Дерво на столик у кровати. Их запах, принесенный морским ветром, окружил его, и он уснул.

Он не поехал в Танжер на пасху, не поехал и летом. В сентябре до него дошел слух, что очень богатая и влиятельная семья художника захватила весь дом. Его адвокату не удалось их выселить. Перед самым Рождеством он получил уведомление, что недвижимость, признанная теперь сельскохозяйственными угодьями, больше ему не принадлежит. Утрату он воспринял спокойно, но его самообладание дрогнуло, когда через несколько месяцев он узнал, что мадам Дерво арендовала второй этаж и башню.

1976

ВЕК УЧИТЬСЯ

I

Не было нужды объяснять Малике, что она хороша собой. С тех пор, как она себя помнила, люди шептались о ее красоте, ибо даже в младенчестве пропорции ее головы, шеи и плеч вызывали восхищение. Еще до того, как Малика выросла и смогла сама ходить к источнику за водой, она уже знала, что у нее глаза газели и голова, точно лилия на стебле. Во всяком случае, именно это говорили люди постарше.

На холме над городом высилось большое здание, к нему вели дорожки под тенью пальм. Принадлежало оно ордену Сестер Поклонения. Несколько монахинь, приметив Малику, отправились к ее отцу и обещали взять девочку на воспитание, обучить испанскому и вышивке. Он с готовностью согласился. «Век живи — век учишься во славу Аллаха», — любил повторять он. Мать Малики, которой не нравилось, что ее дочь будет рядом с назарями, старалась отговорить его. И все же Малика провела с сестрами пять лет, пока отец не умер.

Бабушка Малики часто говорила, что в юности выглядела в точно так же, и если бы смогла снова стать девочкой и оказаться рядом с Маликой, никто бы не их не различил. Поначалу Малика не могла в это поверить; она всмотрелась в опустошенное лицо старухи и немедленно отвергла такую мысль. После смерти бабушки она стала понимать, что та имела в виду: один лишь Аллах не меняется. Придет время состариться и ей,

но сейчас она хороша собой. Когда Малика смогла одна ходить к источнику и приносить домой два полных ведра воды, она уже не обращала внимания, если мальчики постарше и молодые люди окликали ее и пытались заговорить. Лучше бы они, думала Малика, льстили девушкам, кому нужно такое утешение.

Казармы, полные солдат, стояли на окраине города. Мужчины были грубые и жестокие. Заметив одного даже издали, Малика пряталась, дожидаясь, пока он не уйдет. К счастью, военные редко приближались к оврагу, который тянулся от ее дома к источнику; в основном, они слонялись группами по главной улице городка.

Как-то раз мать велела Малике продать курицу на рынке у главного шоссе. Этим всегда занималась ее старшая сестра, но сейчас она помогала соседке готовиться к свадьбе. Малика взмолилась, чтобы мать одолжила ей *хаик* закрыть лицо.

— Твоя сестра ходила тысячу раз. Она никогда не носила *хаик*.

Малика знала: дело лишь в том, что никто не обращал внимания на ее сестру, но сказать это матери было невозможно.

— Я боюсь, — ответила она и расплакалась. Мать, не терпевшая девичьих капризов, запретила ей брать *хаик*. Малика выбежала из дома, держа курицу за ноги, и схватила грязное полотенце. Отойдя подальше, она обмотала им голову, так что, добравшись до шоссе, смогла опустить его и хоть как-то прикрыть лицо.

Несколько десятков женщин собрались на обочине дороги; они расселись на земле, разложив товары. Малика нашла место в конце ряда, напротив небольшого парка, где сидели на скамейках солдаты. Люди проходили мимо, поднимали курицу, тискали ее и трясли,

так что она постоянно кудахтала и трепыхалась. Малика опустила полотенце на глаза так низко, что видела только землю у ног.

Примерно через час подошла женщина и стала прицениваться к курице. В конце концов, она ее купила, и Малика, завязав монеты в узелок, вскочила на ноги. Полотенце соскользнуло с ее лица и упало на землю. Она подхватила его и помчалась по шоссе.

II

Городок был убогий, он смердел нищетой, к которой люди привыкли. Не похоже было, что тут когда-то жили лучше. Морской ветер вздымал уличную пыль и злобно швырял на предместья. Даже листья фиговых деревьев были покрыты белым налетом. Раскаленные пылинки жалили лодыжки Малики, когда она свернула в переулочек, ведущий к нижнему краю оврага. Она обвязала голову полотенцем и двинулась дальше, придерживая его рукой. У нее никогда не возникало мысли, что город можно ненавидеть: ей казалось, что всюду примерно одинаково.

Улица немногим отличалась от переулочка: стены со всех сторон. И вдруг Малика услышала за спиной топот тяжелых ботинок. Она не обернулась. И тут сильная рука схватила ее за плечо и грубо толкнула к стене. Это был солдат, он улыбался. Он оперся руками о стену с двух сторон, чтобы Малика не могла сбежать.

Она даже не пикнула. Мужчина стоял, глядя на нее. Он тяжело дышал, словно запыхался. Наконец, спросил:

— Тебе сколько лет?

Она посмотрела прямо ему в глаза.

— Пятнадцать.

От него пахло вином, табаком и потом.

— Отпусти меня, — сказала она, отчаянно пытаюсь поднырнуть под преграду. Когда он вывернул ей руку, ее глаза широко раскрылись от боли, но она не заплакала. Два человека в *джеллабах* приближались к ним от оврага, и она стала звать их взглядом. Солдат повернулся, увидел их и быстро пошел назад к шоссе.

Вернувшись домой, Малика бросила узелок с монетами на *тайфор*¹ и негодуяще показала матери синяк на предплечье.

— Что это?

— Солдат меня схватил.

Мать больно хлестнула ее по лицу. Малика никогда не видела ее в таком бешенстве.

— Маленькая сучка! — кричала мать. — Только на это и годишься.

Малика выбежала из дома, спустилась в овраг и села на камень в тени, размышляя, не спятила ли мать. Неожиданность и несправедливость внезапной оплеухи вымела все мысли о солдате из ее памяти. Нужно было найти какое-то объяснение поведению матери, иначе придется ее возненавидеть.

Вечером за ужином было ничуть не лучше; мать не смотрела на нее и обращалась только к другой дочери. Так было и в последующие дни. Словно мать решила, что Малики не существует.

Ладно, решила Малика. Если меня нет, так и ее нет. Она не моя мать, я ее ненавижу.

¹ Марокканский столик.

Они не разговаривали, но это не означало, что Малика больше не должна ходить на рынок. Почти каждую неделю ее посылали продать курицу или корзину овощей и яиц. С солдатами хлопот больше не было — возможно, потому, что всякий раз, спускаясь в овраг, она останавливалась и мазала лицо грязью. Глина высыхала к тому времени, когда Малика добиралась до шоссе, и, хотя женщины порой смотрели удивленно, мужчины на нее внимания не обращали. По пути домой, поднимаясь по склону оврага, она умывалась.

Теперь, когда она возвращалась домой, в глазах матери всегда сквозило подозрение.

— Попадешь в беду, — говорила она, — клянусь, убью тебя собственными руками.

Малика шмыгала носом и выходила из комнаты. Она понимала, что имеет в виду мать, но ее поражало, как мало та знает о собственной дочери.

III

Однажды, когда Малика сидела в ряду женщин и девочек на шоссе, к ним бесшумно подъехала длинная желтая машина без крыши. Внутри сидел только один мужчина: это был назарей. Женщины стали переговариваться и шуметь, потому что мужчина держал фотоаппарат и направлял на них. Девочка, сидевшая рядом с Маликой, сказала:

— Ты ведь говоришь по-испански. Скажи ему, чтоб уезжал отсюда.

Малика подбежала к машине. Мужчина опустил камеру и уставился на нее.

— Сеньор, здесь нельзя фотографировать, — сказала она, сурово на него глядя. И показала на ряд негодующих женщин.

Назарей был крупный, со светлыми волосами. Он понял и улыбнулся.

— *Muy bien, muy bien*¹, — сказал он добродушно, по-прежнему не сводя с нее глаз. Только сейчас она вспомнила, что все лицо у нее в грязи. Машинально она потеряла щеку тыльной стороной руки. Улыбка человека стала шире.

— Можно я тебя сфотографирую?

Сердце Малики застучало.

— Нет! Нет! — в ужасе вскричала она. Затем, пытаясь объяснить, добавила: — Мне нужно яйца продавать.

Назарей, казалось, еще больше обрадовался.

— Ты яйца продаешь? Неси их сюда.

Малика сходила за яйцами, завернутыми в тряпку. Компания мальчишек заметила потрясающую желтую машину и окружила ее, клянча деньги. Назарей, пытаясь отогнать их, открыл дверцу Малике и указал на пустое сиденье. Она положила сверток на кожаную подушку и наклонилась развязать узелок, но мальчишки, столпившиеся вокруг, толкали ее. Назарей бешено орал на мальчишек на иностранном языке, но это их ничуть не пугало. Наконец, разъярившись, он сказал Малике:

— Садись.

Она подняла сверток и села, положив его на колени. Мужчина потянулся и захлопнул дверь. Затем поднял окно. Но к мальчишкам добавились двое нищих — они тянули руки над окном.

¹ Очень хорошо (*исп.*).

Без предупреждения назарей с жутким ревом завел мотор. Автомобиль рванул вперед. Перепуганная Малика оглянулась: мальчишки отлетели на дорогу. Когда же она посмотрела вперед, машина уже выезжала из города. Назарей по-прежнему выглядел очень сердитым. Малика решила не спрашивать, как далеко он собирается ехать, прежде чем остановится и купит яйца. Ее охватил восторг оттого, что она едет в такой чудесной машине, и в то же время — беспокойство, что придется возвращаться пешком.

Деревья очень быстро проносились мимо. Малике казалось, что у нее всегда было предчувствие: когда-нибудь с нею случится что-то такое вот странное. Мысль утешала и не давала испугаться по-настоящему.

IV

Вскоре они свернули на проселочную дорогу, исчезающую в глубине эвкалиптовой рощи. В зыбкой тени назарей заглушил мотор и с улыбкой обернулся к Малике. Взял у нее с колен сверток с яйцами и положил назад. Из сетки за ее сиденьем он вытащил бутылку минеральной воды и салфетку. Чуть плеснув воды на салфетку, он положил руку на плечо Малике и принялся стирать разводы грязи с ее щек. Она не сопротивлялась и разрешила ему снять с ее головы полотенце, так что волосы рассыпались по плечам. «Почему бы ему не посмотреть на меня? — думала она. — Он хороший человек». Она уже заметила, что от него совсем не пахнет, а от его доброты ей стало приятно.

— А теперь можно тебя сфотографировать?

Она кивнула. Рядом не было ни души, никто не увидит такое бесстыдство. Он усадил ее поглубже на сиденье и поднял фотоаппарат. Камера непрерывно щелкала, а он выглядел так забавно с большим черным аппаратом перед носом, что Малика засмеялась. Она подумала, что теперь он прекратит снимать, но мужчина был очень доволен и продолжал щелкать камерой, пока та не умолкла. Потом он расстелил одеяло на земле и в центре поставил корзинку с едой. Они сели, поставили посередине корзинку и стали есть курицу, сыр и оливки. Малика проголодалась, и все ей казалось замечательным.

Когда они поели, он спросил, хочет ли она, чтобы он отвез ее на рынок. У Малики потемнело в глазах. Она подумала о торговках: что они скажут, увидев ее. Она энергично затрясла головой. Реальным было только настоящее, она не даст ему завершиться.

— Нет, не сейчас, — отозвалась она беспечно.

Он взглянул на часы.

— Поедем в Тетуан?

Ее глаза разгорелись. Тетуан был всего в часе езды от ее городка, но она там никогда не была. Деревья снова понесли мимо. Здесь со Средиземного моря дул холодный ветер, и Малика продрогла. Мужчина достал мягкий плед из верблюжьей шерсти и накинул ей на плечи.

Тетуан, где было столько автомобилей, поразил ее. Гвардейцы в ало-белой форме стояли навытяжку у дворца халифа. Но Малика не решилась выйти из машины и пройти с мужчиной по улицам. Они остановились на площади Феддан, под палящим солнцем. В конце концов, мужчина пожал плечами и сказал:

— Ну, мне надо вечером быть в Танжере, лучше я отвезу тебя домой.

Малика всхлипнула. Казалось, она стала совсем крошечной под пледом.

— Что такое?

— Я не могу!

Мужчина уставился на нее:

— Но тебе нужно домой.

Малика принялась хныкать.

— Нет, нет! — закричала она. Мужчина нервно оглянулся на прохожего и попробовал как-то ее утешить. Но только что у нее возникла надежда, соблазн был слишком силен и подчинил ее полностью. Видя, что она в смятении и не слышит его, мужчина завел мотор и медленно покотил сквозь толчею на другую сторону площади. Затем по главной улице выехал на окраину города, остановил машину на обочине и закурил.

Он повернулся к ней. Можно было подумать, что на сиденье рядом с ним лежит один только плед. Он потянул за край и услышал всхлип. Тихонько засунув руку внутрь, он погладил ее по волосам. Наконец она приподнялась, из-под пледа показалась голова.

— Я возьму тебя с собой в Танжер, — сказал он.

Она не отвечала и не смотрела на него.

Они помчались на запад, навстречу заходящему солнцу. Малика понимала, что сделала необратимый выбор. Его последствия, уже предусмотренные судьбой, будут открываться перед ней, одно за другим, по ходу событий. Она не сразу стала замечать пейзаж вокруг и порывы летнего ветра.

Они доехали до маленького кафе, одинокого на склоне горы, и остановились.

— Выходи, выпьем чаю, — сказал мужчина.

Малика затрясла головой, сильнее укутываясь в плед.

Мужчина зашел в кафе и заказал два стакана чая.

Минут через пятнадцать мальчик принес их на подносе в машину. Чай был очень горячий, и они выпили его не сразу. Но и когда мальчик вернулся за подносом, уезжать они не стали. В конце концов, мужчина зажег фары, и машина покатила по горной дороге.

V

Малику напугал лифт, но она слегка успокоилась, когда мужчина провел ее в квартиру и захлопнул дверь. Тут были пушистые ковры и мягкие диваны, заваленные подушками, и лампы, которые можно включать или выключать, нажав кнопку. И, что самое главное, назарей жил там один.

Той ночью он проводил ее в спальню и сказал, что это будет ее комната. Прежде чем пожелать ей спокойной ночи, он обнял Малику и поцеловал в лоб. Когда он ушел, она забрела в ванную и долго развлекалась, поворачивая краны то с горячей, то с холодной водой: посмотреть, не ошибется ли какой-нибудь рано или поздно. Наконец, сняла одежду, надела муслиновую *гандур*, которую оставил ей мужчина, и легла в постель.

На столике возле кровати лежала стопка журналов, и Малика стала смотреть картинки. Ее внимание привлекла одна фотография. На снимке была роскошная комната, в шезлонге лежала прекрасная женщина. На ее шее сверкало широкое бриллиантовое ожерелье, а в руке она держала книгу. Книга была раскрыта, но женщина не смотрела на нее. Она повернула голову, словно кто-то только что вошел в комнату и оторвал ее от чтения. Малика поразглядывала фотографию, мельком

глянула на другие и вернулась к ней снова. Это была идеальная поза, в которой следовало застыть, когда появятся гости, и она решила отработать ее, чтобы принять, когда настанет время. Неплохо было бы к тому же и научиться читать, подумала она. Когда-нибудь она попросит мужчину показать ей, как это делается.

Они завтракали на террасе, залитой утренним солнцем. Здание выходило на просторное мусульманское кладбище. Дальше было море. Малика сказала ему, что нехорошо жить так близко к могилам. Потом она перегнулась через перила, увидела красивый мавзолей Сиди Бу-Аракии с куполом и одобрительно кивнула. Пока они пили кофе, он ответил почти на все ее вопросы. Его зовут Тим, ему двадцать восемь лет, но у него нет ни жены, ни детей. Он не живет в Танжере постоянно. Иногда в Каире, иногда в Лондоне. В каждом городе у него небольшая квартира, но машину он держит в Танжере, потому что приезжает сюда отдохнуть от работы.

Пока они сидели, Малика услышала в квартире какой-то шум. На террасу вышла толстая негритянка в желтом *зигдуне*.

— Bonjour, — сказала она и стала убирать тарелки. Всякий раз, когда она входила, Малика выпрямлялась на стуле и пристально смотрела на испанские горы за морем.

Скоро кое-кто придет, сообщил Тим: итальянка, которая снимет с нее мерку и сошьет одежду.

Малика нахмурилась:

— Какую одежду?

Когда он сказал: «Какую захочешь», она вскочила, сбегала в свою комнату, принесла «Нью-Йоркер» и открыла его на странице, где девушка в трикотажном

спортивном костюме стояла возле штабеля одинаковых чемоданов.

— Вот такую.

Примерно через час появилась итальянка очень делового вида, пощекотала Малику мерной лентой и удалилась с записной книжкой в руках.

VI

Вечером в тот же день, когда негритянка ушла, Тим отвел Малику в ее спальню, задернул шторы и очень нежно преподал ей первый урок любви. Малика не слишком хотела, чтобы все случилось так сразу, хотя и не сомневалась, что рано или поздно это произойдет. Легкая боль была пустяком, но позор, что она обнажена перед мужчиной, был почти невыносимым. Ей никогда не приходило в голову, что тело можно считать красивым, так что она не поверила, когда Тим сказал, что она совершенна с головы до пят. Она знала только, что мужчины используют женщин, чтобы делать детей, и все время думала об этом, потому что ребенка не хотела. Мужчина убедил ее, что он тоже не собирается заводить детей, и если она сделала все, как он сказал, нет риска, что они появятся. Малика поверила в это, как верила всему, что он говорил. Она была здесь, чтобы учиться и решила научиться как можно большему.

Когда, через несколько недель, Малика согласилась, наконец, посетить с ним дома его друзей, он и не догадался, что она готова появиться на публике только потому, что сочла свой новый наряд вполне убедительным камуфляжем. Европейское платье

давало ей возможность выходить на улицу с назареем, не опасаясь, что другие марокканцы ее оскорбят.

Тим отвел Малику в студию фотографа, несколько раз подолгу ходил в учреждения и однажды вернулся с победным видом и помахал паспортом.

— Это твой, — сказал он. — Не потеряй.

Почти каждый день на горе устраивали вечеринки, а на пляже — пикники. Больше всего Малике нравились ночные пикники у костра, когда слышно было, как волны растекаются по песку. Иногда приглашали музыкантов, и все танцевали босиком. Как-то ночью восемь или десять гостей повскакали и с криками помчались к волнолому, чтобы нагишом искупаться при лунном свете. Поскольку луна светила очень ярко, а мужчины и женщины были вместе, Малика ахнула и прикрыла лицо. Тиму это показалось забавным, но происшествие заставило ее задуматься — могут ли люди в Танжере стать для нее образцами элегантности, которую она надеялась приобрести.

Как-то утром Тим вошел к ней с грустным лицом. Через несколько дней, объяснил он, ему придется поехать в Лондон. Видя ее огорчение, он быстро добавил, что через две недели вернется, а она будет жить в квартире точно так же, как если бы он не уезжал.

— Но как же это? — вскричала она. — Тебя тут не будет! Я останусь совсем одна.

— Нет, нет. У тебя будут друзья. Они тебе понравятся.

В тот же вечер он привел в квартиру двух молодых людей. Они были симпатичные, хорошо одетые и очень говорливые. Когда Малика услышала, что Тим называет одного Бобби, она рассмеялась.

— Только собак зовут Бобби, — объяснила она. — Это не человеческое имя.

— Она бесценна, — сказал Бобби. — Маленькая Нефертити.

— Абсолютно божественная, — согласился его друг Питер.

После того, как они ушли, Тим объяснил, что они будут развлекать Малику, пока он не вернется из Англии. Они поселятся с ней в квартире. Услышав это, она умолкла на миг.

— Я хочу поехать с тобой, — сказала она, словно все остальное было невыносимо.

Он покачал головой:

— Ni hablar¹.

— Но я не хочу с ними любиться.

Он поцеловал ее:

— Они не занимаются любовью с девочками. Вот почему я их пригласил. Они будут о тебе хорошо заботиться.

— Ах, — сказала она, отчасти утешившись и в то же время думая, как умен Тим, что смог запросто найти двух таких приличных евнухов.

Как и обещал Тим, Бобби и Питер не давали ей скучать. На вечеринки они ее возить не стали, а приглашали своих друзей познакомиться с ней. Вскоре она поняла, что в Танжере очень много евнухов. Поскольку, как утверждали Бобби и Питер, эти чаепития и коктейли устраивались исключительно для Малики, она потребовала сообщать ей точное время прихода гостей, чтобы можно было приветствовать их в правильной позе — откинувшись на диване с книгой в руке. Когда новоприбывшие входили, она медленно поднимала голову, чтобы все могли лицезреть ее благородные черты, устремляла взгляд в точку, находившуюся намного выше чего бы то ни было в комнате,

¹ Это невозможно (*исп.*)

и позволяла полуулыбке скользнуть по губам и тут же исчезнуть.

Он ясно видела, что это производит впечатление. Все говорили, что любят ее. Они играли в игры и танцевали друг с другом и с ней. Они щекотали ее, тискали, сажали на колени и ерошили ей волосы. Ей они казались забавнее друзей Тима, хотя она понимала, что вещи, которые они говорят, не имеют значения. Для них все было игрой, научиться у них хоть чему-то было невозможно.

VII

Тима не было уже больше недели, когда они впервые привели Тони. Это был высокий, шумный ирландец, к которому остальные в компании, казалось, испытывают некоторое уважение. Сначала Малика решила: это потому, что он не евнух, — но быстро обнаружила, что дело в другом: он мог потратить гораздо больше денег, чем любой из них. От одежды Тони всегда изысканно пахло, а его машина, зеленая «мазерати», привлекала даже больше внимания, чем автомобиль Тима. Как-то раз он зашел в полдень, когда Бобби и Питер еще были на рынке. Негритянка получила от Бобби приказ не впускать никого ни под каким предлогом, но Тони умел обходить такие препятствия. Малика слушала пластинку Абдельвахаба¹, но тут же остановила ее и полностью переключилась на Тони. По ходу беседы он заметил невзначай, что она красиво одета. Малика пригласила юбку.

¹ Мохаммед Абдельвахаб (1907–1991) – популярный египетский певец и композитор.

— Но мне хочется видеть тебя в других нарядах, — продолжал он.

— А где они?

— Не здесь. В Мадриде.

Хлопнула дверь — это вернулись Бобби и Питер. Они поссорились и теперь обменивались только язвительными междометиями. Малика поняла, что партия в домино, которую они обещали с ней сыграть, когда вернутся, не состоится. Она села и, надувшись, стала перелистывать один из финансовых журналов Тима. Евнухи совсем как дети, подумала она.

Бобби вошел в комнату, остановился у дальней стены и стал молча перебирать книги на полке. Вскоре в дверях появилась негритянка и объявила по-французски, что мсье Тим звонил из Лондона и приедет в Танжер только восемнадцатого.

Когда Тони перевел известие на испанский, Малика застыла, горестно глядя на него.

Бобби быстро вышел из комнаты. Смутившись, Тони встал и последовал за ним. Миг спустя донесся резкий голос Бобби:

— Нет, она не может пойти с тобой обедать. Ей вообще нельзя никуда ходить, только если мы пойдем вместе. Одно из правил Тима. Если хочешь, можешь поесть у нас.

За обедом почти не говорили. Посреди трапезы Питер отшвырнул салфетку и вышел из комнаты. После этого негритянка подала кофе на террасе. Бобби и Питер ссорились где-то в глубине квартиры, но их пронзительные голоса были на удивление хорошо слышны.

Поначалу Малика потягивала кофе и ничего не говорила. Когда она обратилась к Тони, казалось, что в их прежнем разговоре не было перерыва.

— А можем мы поехать в Мадрид? — спросила она.

— Ты бы хотела? — ухмыльнулся он. — Но видишь, какие они. — И указал за спину.

— *A mí me da igual cómo son*¹. Я обещала остаться с ними только на две недели.

На следующее утро, пока Бобби и Питер покупали на рынке еду, Тони и Малика положили чемоданы в «мазерати» и отправились в порт, чтобы сесть на паром в Испанию. Тони оставил Бобби короткую записку, в которой сообщил, что одолжил Малику на несколько дней и проследит, чтобы она позвонила.

VIII

Первую ночь они провели в Кордове. Прежде чем отправиться утром в Мадрид, Тони остановился у собора — он хотел показать его Малике. Когда они подошли к дверям, Малика смутилась. Она заглянула внутрь и увидела бесконечный коридор арок, уходящих в полумрак.

— Зайди, — сказал Тони.

Она потрясла головой:

— Ты иди. Я тут подожду.

Выезжая из города, он пожурил ее:

— Надо смотреть на вещи, когда есть возможность. Это знаменитая мечеть.

— Я посмотрела, — отрезала она.

Оказавшись в Мадриде, они провели весь первый день в ателье Баленсиаги².

¹ А мне все равно, какие они (*исп.*).

² Крестобаль Баленсиага (1895—1972) — испанский кутюрье.

— Ты был прав, — сказала Малика, когда они вернулись в отель. — Одежда здесь намного лучше.

Нужно было ждать несколько дней, пока первые заказы будут готовы. Музей Прадо был в двух шагах от отеля, но Тони решил, что не стоит пытаться затащить туда Малику. Он предложил корриду.

— Только мусульмане знают, как убивать животных, — объявила она.

Они провели в Мадриде уже неделю. Как-то вечером, когда они сидели в баре «Ритца», Тони повернулся к ней и спросил:

— Ты звонила в Танжер? Нет, не звонила. Пойдем.

Малике не хотелось думать о Танжере. Вздохнув, она встала и поднялась за Тони в его номер; он заказал разговор.

Услышав Бобби на другом конце провода, он жестом подозвал Малику и дал ей трубку.

Стоило Малике заговорить, Бобби начал ее распекать. Она прервала его и попросила позвать Тима.

— Тим пока не может приехать в Танжер. — Его тонкий голос сорвался. — Но он хочет, чтобы ты немедленно вернулась!

Малика молчала.

— Ты слышала, что я сказала? — визжал Бобби. — Oíste?

— Да, слышала. Я дам тебе знать. — Она быстро повесила трубку, чтобы не слышать, как он возмущается.

Они еще несколько раз ходили к Баленсиаге на примерки. Мадрид на Малику произвел впечатление, но ей не хватало ласковой заботы Тима, особенно по ночам, когда она лежала одна в постели. Жить с Тони было приятно — он уделял ей столько внимания и постоянно что-то дарил, но она знала, что делает он это лишь

потому, что ему хочется одевать ее так, чтобы не стыдно было вместе выходить на люди, а не оттого, что заботится о ней.

Хотя заказы приходили, а платья и костюмы были превосходные, удовольствие Малики было слегка омрачено открытием, что люди замечают ее наряды только в двух ресторанах и баре внизу. Когда она сообщила об этом Тони, тот засмеялся:

— А! Тебе нужно в Париж. Это ясно.

Малика обрадовалась:

— А мы можем туда поехать?

Когда прибыл последний заказ, Тони и Малика в последний раз поужинали в «Хоршере» и рано утром отправились в Париж. Ночь они провели в Биарицце: улицы там были мокрые от дождя и пустые.

IX

Париж оказался слишком большим. Она испугалась его еще до того, как они приехали в отель, и решила, что не выпустит Тони из виду, пока не окажется в безопасности своего номера. В «Отеле де ла Тремуай» она смотрела, как он валяется на постели, делает один телефонный звонок за другим, шутит, кричит, дрыгает ногами и заливисто хохочет. Закончив звонить, он повернулся к ней.

— Завтра вечером возьму тебя на вечеринку. И я точно знаю, что ты наденешь. То атласное платье устричного цвета.

Малику потряс шикарный дом и гости в вечерних туалетах. Наконец-то, решила она, удалось добраться до

места, где люди достигли предельной степени утонченности. Обнаружив, что все одобрительно на нее смотрят, она пришла в восторг.

Вскоре Тони подвел ее к высокой хорошенькой девушке с сияющими черными глазами.

— Это моя сестра Дайна, — объявил он. — Она лучше меня говорит по-испански.

Представляя Малику, он добавил:

— А это новая Антинея.

Он оставил их вдвоем, а сам ушел в другую комнату.

Дайна обращалась с ней, точно с давней подругой. Они поболтали несколько минут, а потом Дайна подвела ее к группе южноамериканцев. Женщины были увешаны драгоценностями, кое у кого на плечах были шкуры животных. Даже мужчины носили на пальцах большие брильянты. Малика подумала, что Тим, наверное, не одобрил бы этих людей, но потом ей пришлось в голову, что, должно быть, на его вкусы нельзя полагаться в таком городе, как Париж.

— Paris es muy grande¹, — сообщила она мужчине, который призывно ей улыбался. — Я только вчера его увидела. Боюсь выходить. Почему его сделали таким большим?

Мужчина, улыбаясь еще шире, сказал, что он к ее услугам и будет счастлив пойти с ней, куда она пожелает в любое удобное для нее время.

— О, — сказала она задумчиво. — Это будет очень мило.

— Mañana?²

Каким-то образом Дайна уловила конец их диалога.

1 Париж очень большой (*исп.*).

2 Завтра? (*исп.*)

— Боюсь, что завтра не получится, — сказала она проворно, беря Малику за руку. Уводя ее прочь, она шепнула яростно: — Там стояла его жена и наблюдала за тобой.

Малика испуганно взглянула через плечо. Мужчина все так же улыбался ей вслед.

Несколько дней подряд Дайна, жившая неподалеку на авеню Монтень, регулярно приходила в отель. Они с Тони долго спорили, пока Малика слушала карирское радио. Как-то вечером, когда Тони ушел, Малике стало скучно и она попросила Дайну заказать разговор с Бобби в Танжере. Через полчаса зазвонил телефон, и она услышала голос Бобби.

— Hola¹, Бобби!

— Малика! — Он сразу же сорвался на крик. — Почему ты так поступаешь со мной? Почему ты в Париже? Ты должна вернуться в Танжер.

Малика молчала.

— Мы ждем тебя. Что скажет Тим, если тебя здесь не будет?

— Тим! — сказала она насмешливо. — А где же Тим?

— Приезжает на следующей неделе. Я хочу поговорить с Тони.

— Тони вышел.

— Послушай меня! — закричал Бобби. — В каком ты отеле?

— Не знаю, как он называется. Это в Париже. Хороший отель. Adíós.

Как-то утром, довольно скоро, Тони внезапно сообщил, что через час уезжает в Лондон. Дайна появилась незадолго до его ухода. Казалось, у них возник

¹ Привет (*исп.*).

какой-то спор и закончился, лишь когда они поцеловались на прощание. Когда Тони вышел, Малика глубокомысленно кивнула. «Лондон, — размышляла она. — Он не вернется».

Х

На следующий день после того, как Малика переехала в квартиру Дайны, погода сделалась дождливой и холодной. Дайна часто уходила, оставляя Малику со служанкой и поваром. Малика очень радовалась, что остается в теплом доме. В ее гардеробе, несмотря на его пышность, не было ничего для холодной погоды. Дайна объяснила ей, что холода только начинаются и еще несколько месяцев не будет тепло. Малике пришло в голову, что где-то в Париже должна быть *жотейя*¹, куда она могла бы отнести два-три вечерних платья и обменять на пальто, но Дайна покачала головой, когда она ее спросила.

Квартира была просторная, тут было много интересных журналов. Малика все время лежала, свернувшись, на диване и разглядывая фотографии моделей.

Тони позвонил из Лондона и сказал, что задержится на несколько дней. Когда Дайна сообщила ей эту новость, Малика улыбнулась и сказала:

— Слаго².

— Я сегодня ужинаю с подругой. У нее горы одежды. Может, смогу достать тебе пальто.

1 Блошинный рынок (*араб.*).

2 Ясно (*исп.*).

Вечером она принесла норковую шубу, которую не мешало бы починить. Малика смотрела на прорехи с явным отвращением.

— Ты даже понять не можешь, как тебе повезло, — сказала ей Дайна.

Малика пожала плечами.

Когда шубу примерили у скорняка и залатали, она стала выглядеть совсем как новая, да и сидела отлично. Малика погладила сияющий мех, присмотрелась к своему отражению и решила, что это все-таки хорошая шуба.

Подруга Дайны пришла на обед. Ее звали Дафной. Она была не очень хороша собой и пыталась говорить с Маликой по-итальянски. За обедом она пригласила их погостить в Кортине д'Ампеццо.

Дайна была в восторге. После ухода Дафны она достала фотоальбом и открыла на коленях Малики. Малика увидела, что земля белая, а люди, в какой-то совсем не элегантной одежде, ходят с длинными досками на ногах. Она пребывала в сомнениях, но странный белый пейзаж и компании радостных людей ее заинтриговали. Может, интереснее Парижа, который под конец оказался довольно скучным.

Они пошли в контору купить билеты на самолет.

— У тебя есть хоть какие-то деньги? — спросила Дайна, пока они ждали.

Неожиданно Малике стало очень стыдно.

— Тони мне никогда ничего не давал.

— Ладно, — сказала Дайна.

Перед отъездом у них возникла бурная перепалка о том, возьмет ли Малика в Милан все свои чемоданы.

— Но тебе не понадобятся там все эти наряды, — возражала Дайна. — И к тому же это будет стоить так дорого.

— Мне надо взять всё, — сказала Малика.

Все ее вещи полетели вместе с ними. По дороге в Милан, где их встретила машина Дафны, была плохая погода. Сама Дафна была уже в Кортине.

Малике полет не понравился. Она не понимала, почему люди, у которых есть машины, летают на самолетах. Смотреть было не на что, одни облака, а от качки некоторым пассажирам стало плохо, и к концу полета все были нервные и несчастные. Какое-то время, пока они мчались по автостраде, Малике казалось, что они снова в Испании.

Как сообщил шофер, в шале Дафны остановилось уже так много друзей, что для них места не осталось. Дафна разместит их в отеле. Дайна ничего не сказала в ответ на это известие: похоже, была недовольна. Малика, поняв, как обстоят дела, втайне обрадовалась. В отеле будет намного больше людей, чем в доме.

XI

В Кортине было холодно. Поначалу Малика не выходила из отеля. Воздух — как яд, жаловалась она. Потом стала выглядывать понемножку, и, в конце концов, решила, что холод сносный.

Она сидела на террасе отеля в ярчайшем солнечном свете, в своей теплой шубе, потягивая горячий шоколад, а все вокруг пили коктейли. Веселье румяных лыжников было для нее в новинку, а снег не переставал восхищать. По утрам, когда Дафна и ее гости приходили за Дайной, Малика наблюдала, как шумная компания торопится на лыжные трассы. Потом она гуляла по

отелю. Служащие были любезны и часто ей улыбались. В отеле был магазин, где продавались лыжи и одежда, которую нужно с ними носить. Витрину каждый день оформляли по-новому, так что Малика часто стояла снаружи и изучала товары через стекло.

Перед витриной, которую разглядывала Малика, два раза проходил высокий молодой человек, и ей казалось, что он хочет с ней заговорить. Оба раза она отворачивалась и продолжала бродить бесцельно. Тони и Дайна не раз предупреждали ее, что не следует разговаривать с незнакомцами, и она решила, что лучше соблюдать этикет, который они считали столь важным. Она выяснила, что бармен Отто говорит по-испански, и по утрам, когда в баре никого не было, заходила и болтала с ним. Как-то утром он спросил, отчего она не катается на лыжах с друзьями.

— Не умею, — призналась она полупшепотом.

В этот момент в зеркале за стойкой она увидела, как в бар вошел высокий молодой человек и застыл у двери, словно прислушиваясь к их беседе. Малика надеялась, что Отто замнет разговор, но он сказал:

— Ну и зря. Берите уроки. В Кортине полно отличных инструкторов.

Малика несколько раз молча покачала головой.

Молодой человек подошел к бару и произнес по-испански:

— Дружище Отто прав. Для этого и существует Кортина. Здесь все катаются на лыжах.

Он облокотился на стойку и взглянул на Малику.

— Я провожу много времени к югу от границы, — сообщил он доверительно. — У меня небольшая гасьенда в Дуранго.

Малика уставилась на него. Он говорил по-испански,

но она понятия не имела, о чем это он. Он неправильно истолковал ее взгляд и нахмурился:

— А что? Вам не нравится Дуранго?

Она перевела взгляд на Отто и снова на высокого молодого человека. А потом расхохоталась, и ее смех мелодично раскатился по бару. Лицо высокого молодого человека словно растаяло, когда он его услышал.

Она соскользнула с табурета, улыбнулась молодому человеку и сказала:

— Я не понимаю. *Nasta luego*¹, Отто.

Молодой человек явно пытался собраться с мыслями, а она повернулась и вышла из бара.

Так завязалась новая дружба, заметно выросшая в масштабах в тот же самый день. Ближе к вечеру Малика и молодой человек, который сказал, что его зовут Текс, пошли прогуляться по дороге возле отеля, где был расчищен снег. Вершины гор вокруг них розовели. Малика дышала полной грудью.

— Мне нравится здесь, — сказала она так, словно он возражал.

— Вам понравится еще больше, если научитесь кататься на лыжах, — заметил он.

— Нет, нет! — Она смутилась, а затем быстро продолжила: — Я не могу платить за уроки. У меня совсем нет денег. Они мне не дают.

— Они — это кто?

Она шла рядом, не отвечая, и он взял ее под руку. Когда они вернулись в гостиницу, она согласилась, что Текс оплатит уроки, лыжи и костюм, при условии, что одежда будет куплена в городском магазине, а не в отеле.

¹ Скоро увидимся (*исп.*).

Когда Малику экипировали, начались уроки; Текс не отходил от нее ни на шаг. Дайне вся затея совсем не понравилась. Она сказала, что это неслыханно, и попросила Малику показать ей Текса.

Малику обижало, что ее каждый день оставляют в одиночестве, и она не могла понять возражений Дайны. Сама она была в восторге от нового друга и договорилась, что они все вместе встретятся в баре: там она полчаса слушала, как Дайна и Текс говорят по-английски. Вечером Дайна сказала ей, что Текс нецивилизован. Малика не поняла.

– Он – идиот! – крикнула Дайна.

Малика рассмеялась, поскольку решила: это означает, что Дайне он тоже нравится.

– У него доброе сердце, – ответила она спокойно.

– Да, да. Вскоре ты узнаешь это доброе сердце, – с кривой усмешкой сказала Дайна.

Заметив, что интерес Текса к ней отчасти связан с тайной, которой, по его мнению, она окружена, Малика старалась рассказывать о себе как можно меньше. Он все еще пребывал в уверенности, что она – мексиканка и родственница Дайны, и та по какой-то причине ее опекает. Это заблуждение забавляло Малику, и она не пыталась его развеять. Знала она и то, что Дайна и Дафна убеждены, будто у нее с Тексом роман, и это ей тоже нравилось, хоть и не было правдой.

Порой Текс пил слишком много виски, хотя Малика и пыталась его остановить. Это, как правило, происходило в баре после обеда. В такие минуты он становился похож на рыбу, вытащенную на пляж. Его глаза наливались кровью, лицо оплывало, он сжимал ее руку и стонал: «О, моя сладкая!», Малике думалось,

что так он выражает отчаяние. Она вздыхала, качала головой и пыталась утешить его, говоря, что скоро ему полегчает.

Уроки шли очень хорошо; Малика почти целые дни проводила на снегу с Тексом. Она бы и ела за его столом, но Дайна категорически запретила.

Как-то раз за обедом Дайна закурила и сказала:

– Завтра у тебя последний урок. В четверг уезжаем в Париж.

Малика заметила, что Дайна внимательно смотрит на нее: какое впечатление произведет это известие. А потому решила показаться слегка обескураженной – но не настолько, чтобы Дайне понравилось.

– Поездка была замечательная, – продолжала Дайна, – мы отлично провели время, но всему приходит конец.

– *Así es la vida*¹, – прошептала Малика, понуриив голову.

ХП

В тот день после занятий Малика и Текс сидели рядышком на снегу, глядя, как сумерки опускаются на долину. Вдруг Малика расплакалась. Текс взглянул на нее в ужасе, потом притянул к себе, пытаясь успокоить. Всхлипывая, она повторила то, что сказала ей Дайна за обедом.

В его объятьях она поняла, что несчастна лишь потому, что не хочет с ним расставаться. Она опустила голову ему на грудь и сквозь слезы произнесла:

¹ Такова жизнь (*исп.*).

— Me quiero quedar contigo, Tex, contigo¹.

Эти слова преобразили его. Он просиял и, поглаживая ее, сказал, что сделает ради нее что угодно на свете. Если она хочет, он заберет ее сегодня же ночью. Она перестала плакать и прислушалась.

Еще не встав из сугроба, они договорились уехать наутро, когда Дайна пойдет кататься на лыжах. Текс решил вообще не встречаться с Дайной, но Малика уговорила его оставить записку, которую сама же продиктовала.

Дайна, я не хочу сейчас ехать в Париж. Спасибо тебе и спасибо Дафне. Мне понравилась Кортинна. Теперь я научусь кататься на лыжах. Я проведу некоторое время в Швейцарии. Счастливо, Малика.

Текс договорился, что большая машина с шофером, в которую поместятся многочисленные чемоданы Малики, заберет их в отеле в половине десятого утра. Все прошло гладко. Записку для Дайны Малика оставила портье. Вопреки ее опасениям, тот не упомянул о счете, а просто серьезно кивнул.

Когда Кортинна оказалась позади, Малика сказала:

— Дайна очень рассердится.

— И я об этом думаю, — отозвался Текс. — Она нам не напакостит?

— Она ничего не может сделать. Она никогда не видела мой паспорт. Она даже моей фамилии не знает.

Это сообщение потрясло Текса, и он стал задавать Малике разнообразные вопросы, но она, радуясь прекрасному снежному виду за окном, отвечала, ничего

¹ Я хочу остаться с тобой, Текс, с тобой (*исп.*).

толком не объясняя, и время от времени сжимала его руку, показывая на ту или иную деталь пейзажа; ей удалось отделаться от его расспросов так, что он и сам этого не заметил.

Они пообедали в маленьком ресторанчике в Меццолонбардо. Официант принес бутылку вина и наполнил два бокала.

— Нет, — сказала Малика, отстраняя бокал.

— Твоей подруги Дайны нет рядом, — напомнил ей Текс. — Ты можешь делать что угодно.

— Дайна! — фыркнула она. — Что такое Дайна рядом со словом Божьим?

Он заинтригованно уставился на нее, но не стал расспрашивать и выпил всю бутылку сам, так что когда они снова сели в машину, был счастлив и расслаблен. Пока они катили на юг по автостраде, он тискал ей руку, ерзал по ее шее губами и напоследок пылко поцеловал. На большее Малика и не надеялась.

ХІІІ

За ужином в Милане он на ее глазах выпил две бутылки вина. Потом несколько стаканов виски в баре. В Кортине она умоляла его остановиться, но в эту ночь решила не обращать внимания на то, что он мало-помалу пьянеет. Вместо этого она стала рассказывать ему запутанную историю, которую знала с детства, — о женщине-вурдалаке, обитавшей в пещере и выкапывавшей свежепогребенные трупы, чтобы вырвать у них печень. Заметив, что он совершенно ошеломлен, она остановилась на середине рассказа.

Текс потряс головой.

— Ну и фантазия! — сказал он.

— Я хочу научиться говорить по-английски, — продолжала Малика, позабыв о вурдалаке. — Вот что я буду делать в Швейцарии.

Когда они поднялись, Текс был пьян. Малика расстроилась: трезвый он ей нравился больше. Но она подозревала, что он собирается спать с ней, и решила, что в их первую ночь ему лучше быть одурманенным. Ясно было, что он рассчитывает стать ее первым мужчиной.

Утром, когда он проснулся, пытаясь припомнить вчерашнее, она призналась, что было не так больно, как она опасалась. Текс раскаивался, он чуть ли не рыдал, моля ее о прощении. Она улыбалась и осыпала его поцелуями.

Победив в этом раунде, она продолжала игру — без особой подспудной цели, а просто чтобы обрести более твердую почву под ногами. Пока он еще был охвачен утренним раскаянием, она вытянула из него обещание отказать от виски.

В Гран-Сен-Бернаре, когда полицейские вернули им документы, Малика увидела, что Текс потрясенно смотрит на ее паспорт. Когда они сели в машину, он захотел снова на него взглянуть. Арабские буквы, похоже, привели его в восторг. Он стал задавать ей вопросы о Марокко, на которые Малика не смогла бы ответить, даже если бы была расположена к такой беседе. Она заверила его, что это такая же страна, как и все прочие.

— А теперь я смотрю на Швейцарию, — сказала она.

Они добрались в Лозанну под вечер и поселились в большом отеле у озера в Уши. Он был гораздо больше гостиницы в Кортине, и не носившие лыжных костюмов люди, которые здесь жили, показались Малике куда более элегантными.

— Мне здесь нравится, — вечером после ужина сказала она Тексу. — Сколько мы можем здесь пробыть?

На следующее утро, по настоянию Малики, они вместе отправились в школу Берлица на интенсивные языковые курсы: она — английские, он — французские. Она видела: Текс надеется, что ей наскучит строгое расписание, — но решила не покидать Лозанну, пока не научится говорить по-английски. Каждое утро они проводили в своих классах, обедали вместе, а в три часа снова возвращались в школу.

По пятницам Текс брал напрокат машину, они ехали в Гстаад и по дороге ужинали. По субботам и воскресеньям, если не шел снег, катались на лыжах в Вассерн-грате или Эггли. Иногда Текс настаивал, чтобы они задержались до понедельника, хотя из-за этого приходилось пропускать утренние занятия. Малика понимала, что, если дать ему волю, он бы делал это постоянно и растягивал уикенды дальше и дальше. Он одобрял, что Малика учит английский, но не мог понять, отчего она так навязчиво этим увлечена. Если бы он спросил, она и сама не смогла бы объяснить. Она просто понимала, что, если прекратит учиться, все пропало.

XIV

Зимой в Лозанне они ни с кем не завязали знакомства, довольствуясь обществом друг друга. Как-то раз, когда они возвращались из «Швейцарише Кредитанштальга», где Текс открыл для Малики счет, он повернулся к ней и ни с того ни сего спросил, не задумывалась ли она когда-нибудь о замужестве.

Она удивленно посмотрела на него.

— Я только об этом и думаю, — сказала она. — Ты же знаешь, как я счастлива, что замужем за тобой.

Он уставился на нее так, словно не понял, что она сказала. Миг спустя взял ее за руку и прижал к себе.

— И я счастлив.

Однако Малика видела: он что-то задумал. Позднее, когда они остались одни, он сказал, что, разумеется, это правда, они женаты, но он имел в виду брак с документами.

— С документами, без документов! Это ведь одно и то же, правда? Если два человека любят друг друга, при чем тут документы?

— Это власти, — объяснил он. — Они хотят, чтобы у женатых людей были документы.

— Конечно, — согласилась она. — В Марокко тоже. Многие люди женятся с документами.

Она чуть было не добавила, что документы важны, если собираешься заводить детей, но вовремя осеклась, почувствовав, что ступает на опасную почву. И все же, по некоторым вопросам, которые он задавал, заподозрила, что его беспокоит, не беременна ли она. Его вопросы позабавили ее, поскольку были основаны на уверенности, что до Текса не было Тима, который научил ее предохраняться.

Как-то утром в начале весны, когда она пожаловалась на усталость, он спросил ее напрямую.

— Думаешь, марокканские женщины ничего не знают? — вскричала она. — Если они хотят завести детей, они их заводят. Если не хотят, не заводят.

Он кивнул с сомнением:

— Эти домашние средства не всегда помогают.

Ей и так ясно, что все в порядке. Он ничего не знает о Марокко.

— Мои помогают, — сказала она.

Она никогда не заговаривала с ним об Америке и не спрашивала о его семье, потому что вообще не могла вообразить его тамошнюю жизнь. Текс же об Америке говорил все чаще. Никогда еще он не жил за границей так долго, объяснял он. Малика истолковала эти замечания как предупреждения, что ему все надоело и он обдумывает перемену. От этой мысли ужас закрался в ее сердце, но она решила скрывать свои чувства от Текса.

Время от времени она ловила его на том, что он с глубоким недоумением всматривается в нее. Теперь, по настоянию Малики, они часто говорили по-английски. Она думала, что этот язык подходит ему больше, чем испанский: казалось, у него совершенно другой голос.

— Ты хочешь выйти замуж? В смысле — с бумагами?

— Да, если ты хочешь.

— А ты? — настаивал он.

— Конечно, я хочу, если хочешь ты.

Они поженились в доме протестантского священника, который заметил, отведя Текса в сторону, что не одобряет, когда невеста такая юная, как Малика.

— По моему опыту, — сказал он, — немногие из этих браков сохраняются навсегда.

Для Малики этот эпизод был из разряда той чепухи, которой так увлекаются назареи. И все же ей было ясно, что это предмет высочайшей важности для Текса. И действительно, после церемонии его характер, похоже, слегка изменился: теперь Текс стал более самонадеянным. Таким он ей нравился гораздо

больше, и она пришла к выводу, что втайне он весьма благочестивый человек. Бумаги были явно требованием назарейской религии: теперь, заполучив их, он чувствовал себя увереннее.

Всего лишь через две недели после этого, Текс, выпив вина чуть больше обычного, объявил, что они едут домой. Малика выслушала известие с тягостным чувством. Ясно было, что он рад покинуть мир отелей и ресторанов, и она подозревала, что жизнь в его доме будет совсем другой и отнюдь не такой веселой.

Снова она не видела ничего из самолета, но на сей раз путешествие продолжалось так долго, что она начала беспокоиться. Текс дремал, и она несколько раз будила его и спрашивала:

— Где мы?

Дважды он весело отвечал:

— В воздухе.

На третий сказал:

— Где-то над океаном, видимо, — и украдкой поглядел на нее.

— Мы не двигаемся, — сказала она. — Стоим на месте. Самолет застрял.

Он только рассмеялся, но так, что Малика поняла: она совершила какую-то ошибку.

— Мне не нравится этот самолет, — сказала она.

— Поспи, — посоветовал ей Текс.

Она закрыла глаза и сидела тихо, чувствуя, что забралась слишком далеко — так далеко, что теперь оказалась нигде.

— Вне мира, — шепнула она себе по-арабски и по-ежилась.

XV

Жизнь в Лос-Анджелесе убедила Малику, что она была права: она оставила позади все, что было постижимо, и оказалась в совершенно ином месте, законы которого понять невозможно. Они приехали из аэропорта на вершину горы, где стоял дом, скрытый в лесу. Текс рассказывал ей о нем, но она представляла нечто совсем другое, вроде Горы в Танжере, где стоят виллы, окруженные садами. Этот же дом был погребен среди деревьев — она не увидела его целиком, даже когда они подошли к двери.

— Посреди леса, — заметила она удивленно.

Дверь им открыл уродливый маленький филиппинец в белой куртке. Он низко поклонился и произнес короткую официальную речь, приветствуя Малику. Она поняла, что он говорит по-английски, но это был не тот английский, которому ее учили в Лозанне. Она сухо поблагодарила его.

Позднее она спросила Текса, о чем говорил человечек.

— Он говорил, что надеется, что ты будешь счастлива в своем новом доме, вот и все.

— Моем доме? Но это твой дом, не мой.

— Конечно, твой! Ты ведь моя жена, верно?

Малика кивнула. Она знала, как бы кто ни притворялся: когда мужчинам надоедают их жены, они выгоняют их и берут новых. Она любила Текса и верила ему, но не ожидала, что он будет непохож на других мужчин. Было ясно — когда придет время, он найдет предлог от нее избавиться. Важнее всего было оттянуть роковой момент, сделать так, чтобы он наступил как можно позже. Она снова кивнула и сказала с улыбкой:

— Мне нравится этот дом, Текс.

У комнат были неправильные стены, с неожиданными альковами и нишами, где стояли мягкие диваны, заваленные подушками. Исследуя дом, Малика с удовлетворением заметила, что окна забраны стальными решетками. Массивную входную дверь с тяжелыми засовами она уже видела.

Вечером, когда они сидели у камина, она услышала тьяканье койотов.

— Шакалы, — прошептала Малика, прислушавшись. — Очень плохо.

Ей казалось непостижимым, как может придти в голову потратить деньги и построить такой милый дом в глухомани. Кроме того, она не могла понять, почему не срубили деревья, растущие так близко к дому. Она твердо решила никогда не выходить без сопровождения Текса и ни при каких обстоятельствах не оставаться в доме без него.

На следующее утро, когда Текс собрался поехать в город, Малика стала носиться из комнаты в комнаты, крича:

— Подожди! Я поеду с тобой.

— Тебе будет скучно, — сказал он. — Мне надо зайти в адвокатскую контору. Оставайся здесь с Сальвадором.

Она не могла сказать Тексу, что боится оставаться в доме; это было бы непростительным оскорблением.

— Нет, нет, я хочу посмотреть город, — сказала она.

Он поцеловал ее, и они отправились в город. Машина была больше той, что он накануне брал напрокат в аэропорту.

— Я всегда хочу быть с тобой, куда бы ты ни поехал, — призналась Малика, надеясь, что это заявление поможет создать прецедент.

Несколько недель Малика наблюдала жизнь на улицах,

но не смогла постичь ее логику. Люди постоянно куда-то шли и всегда спешили. Она прекрасно понимала, что все выглядят по-разному, и все же не могла определить, кто есть кто. В Марокко и в Европе всегда были люди, занятые каким-то делом, и те, кто за ними наблюдал. Всегда, не важно где был человек и чем занимался, рядом находились зеваки. У нее создалось впечатление, что в Америке все куда-то спешат и никто не сидит и не смотрит. Это раздражало. Она чувствовала себя далеко, очень далеко от всего знакомого. Автострады внушали ей ужас: она не могла отделаться от мысли, что случилась какая-то неведомая катастрофа, и машины полны беженцев, спешащих оттуда. Она часто видела бесконечные ряды домиков, стоящих впритык, и сравнивала эти скромные жилища с домом на горе. В конце концов, ей пришло в голову, что, возможно, ей повезло, раз она живет так, как сейчас. Как-то раз, когда они ехали в город, она повернулась к Тексу:

— У тебя больше денег, чем у этих людей?

— Каких людей?

Она махнула рукой.

— Которые живут в этих домах.

— Меня чужие деньги не волнуют. Знаю только, что мне вечно своих не хватает.

Она смотрела на ряды жалких деревянных домов среди пыльного кустарника и не могла ему поверить.

— У тебя ведь больше денег, — заявила она. — Почему ты не хочешь это признать?

Это его рассмешило:

— Все, что у меня есть, я заработал сам. Когда мне исполнился двадцать один год, отец дал мне чек и сказал: «Ну вот. Посмотрим, что ты с этим сможешь сделать». За три года я заработал в четыре с половиной раза больше. «Ты это имел в виду, папа?» — спросил я его.

«Я это имел в виду, сынок», — сказал он.

Малика задумалась и наконец сказала:

— И теперь, когда ему нужны деньги, ты ему даешь.

Текс посмотрел на нее искоса и хмуро произнес:

— Конечно.

Она недоумевала, отчего у него нет друзей в Лос-Анджелесе. Со дня их приезда они ни с кем не встречались, и ей это казалось странным. Возможно, существует обычай, что молодожены какое-то время ни с кем не должны общаться. Или, быть может, все друзья Текса — девушки, что автоматически исключает ее знакомство с ними. Когда она спросила, он сказал, что редко бывает в Лос-Анджелесе.

— Обычно я со своей семьей в Техасе или на юге, в гаспенде.

Наверху была студия с широкой террасой, которую днем не закрывала тень деревьев. Малика нервничала, когда сидела там, а между ней и темным лесом ничего не было. Она подозревала, что в деревьях обитают опасные птицы. Иногда они с Тексом садились на террасе и время от времени забирались в бассейн — он находился внизу в закрытом дворике, и Малика считала его безопасным. Текс разглядывал ее, когда она растягивалась на матрасе, и говорил, что она красивее прежнего. Она и сама это заметила, но ей было приятно знать, что он тоже видит.

XVI

Как-то раз Текс сказал ей, что на ужин придет человек по имени Эф Ти. Эф Ти был старым другом его отца и вел финансовые дела Текса. Малика заинтересовалась,

что означает такая работа, так что Текс попытался объяснить ей механизм инвестиций. Какое-то время она молчала.

— Значит, нельзя сделать деньги, если у тебя их нет, — сказала она.

— Верно, — согласился Текс.

Эф Ти был средних лет и хорошо одет, с седыми усиками. Он пришел в восторг от Малики и назвал ее Маленькой Госпожой. Это показалось ей смутно оскорбительным, но, поскольку она видела, что во всем остальном он был милый и хорошо воспитанный человек, возражать она не стала. Кроме того, Текс сказал ей:

— Запомни. Если тебе что-то понадобится, что угодно, просто позвони Эф Ти. Он мне как отец.

За ужином она решила, что ей очень нравится Эф Ти, хотя, похоже, он не слишком серьезно к ней относился. Потом Эф Ти и Текс очень долго говорили. Слов было так много, что Малика уснула на диване и проснулась, лишь когда Эф Ти ушел. Она стала просить прощения за свою невежливость, но ведь это Текс виноват, что так случилось.

Он бросился на диван рядом с нею.

— Эф Ти говорит, что ты потрясающая. Сказал, что красивей тебя он девушки в жизни не видел.

— Он милый человек, — прошептала она.

С самого приезда в Калифорнию ее жизнь замерла на месте. Поразмыслив, она решила, что все перестало двигаться, когда она ушла из школы Берлица. Без всякой задней мысли она спросила Текса, можно ли продолжать занятия. К ее удивлению он высмеял это предложение, заявив, что ей нужна только разговорная практика. Поскольку не в его привычках было отказывать ей в чем-либо, она не поверила на слово

и продолжала напоминать о своем желании заниматься. И тут почувствовала, что он не уступит: похоже, считал, будто ее недовольство направлено против него. Только теперь она поняла, что он сердится.

— Ты не понимаешь! — вскричала она. — Мне нужно лучше знать английский, прежде чем я начну учиться чему-то еще.

— Учиться!

— Конечно, — сказала она спокойно. — Я собираюсь все время учиться. Думаешь, я хочу оставаться такой?

— Надеюсь, что останешься, моя сладкая, ради меня. Ты превосходная.

Он попытался ее обнять, но она вырвалась.

Вечером Текс сказал ей:

— Я собираюсь взять на кухню еще одну женщину, а Сальвадор будет учить тебя готовить. Вот этому тебе следует научиться, согласна?

Малика помолчала.

— Хочешь, чтобы я научилась? Ты знаешь, я хочу делать все, чтобы ты был счастлив.

Каждый день по несколько часов она проводила на кухне с Сальвадором и Кончей, молодой мексиканкой, о работе которой маленький филиппинец отзывался презрительно. Кухня была довольно милой, но множество странных машин и маленьких колокольчиков, которые звенели, когда Сальвадор метался с одного места на другое, пугали и смущали Малику. Она даже побаивалась Сальвадора, поскольку на его лице всегда было одно и то же выражение — бессмысленная ухмылка. Ей казалось, что когда он недоволен, ухмылка становится еще шире. Она старалась запоминать все, что он ей говорил. Вскоре она научилась готовить простые блюда, которые они ели за обедом. Если для рецепта нужен

был соус бешамель или шассёр, Сальвадор делал его сам, поскольку на это уходило больше времени, чем могла выдержать Малика. Она была рада, что Текс считает ее стряпню достойной подачи на стол. Теперь каждое утро она по два часа проводила на кухне и еще примерно час — вечером перед ужином. Иногда она помогала Сальвадору и Конче подготовить корзинку для пикника, и они отправлялись на пляж. Ей хотелось рассказать Тексу о пикниках на пляже в Танжере, но это было невозможно.

XVII

Время от времени, несмотря на мольбы Малики, Текс пользовался ее утренними занятиями на кухне и на маленькой машине уезжал в город по делам. До его возвращения ей бывало не по себе, но он всегда возвращался к обеду. Но однажды утром он не появился в обычное время. Зазвонил телефон. Сальвадор вытер руки и пошел в буфетную взять трубку, пока Малика и Конча болтали по-испански. Вскоре Сальвадор появился в дверях и с лучезарной улыбкой сообщил Малике, что звонила полиция и сказала, что мистер Текс попал в аварию и теперь в больнице в Вествуде.

Малика метнулась к филиппинцу и схватила его за плечи:

— Позвони Эф Ти!

Она металась, пока он искал и набирал номер. Как только она увидела, что он говорит с Эф Ти, она вырвала у него трубку.

— Эф Ти! Приезжайте и заберите меня! Я хочу к Тексу.

Она слышала голос Эф Ти, спокойный и убедительный:

— Хорошо. Просто подождите меня. Постараюсь приехать скорее. Не волнуйтесь. Дайте мне снова поговорить с Сальвадором.

Сальвадор говорил по телефону, а она побежала наверх в студию и стала бродить из угла в угол. Если Текс в больнице, он, скорее всего, не придет ночевать, и она останется в доме одна. Малика вышла на террасу и посмотрела на деревья. Текс умер, подумала она.

Ближе к вечеру подъехала машина Эф Ти. Когда он вошел, Малика лицом вниз лежала на диване в студии. Услышав его голос, она испуганно вскочила и подбежала к нему.

Эту ночь Малика провела в доме Эф Ти. Он настоял, что возьмет ее к себе и оставит на попечение жены. Потому что Текс действительно умер: скончался вскоре после того, как его привезли в больницу.

Эф Ти и его жена не соболезновали Малике. Миссис Эф Ти сказала, что проявление симпатии может спровоцировать истерику. Малика просто говорила без остановки, время от времени всхлипывая. Иногда она забывала, что ее слушатели не знают арабского и испанского, и только после их напоминания переходила на английский. Она поклялась сопровождать Текса, куда бы он ни поехал, не сдержала обещания и поэтому он погиб, он единственный на свете, кого она любила, она оказалась вдали от дома, и что с ней станет здесь одной?

Ночью, когда она лежала в темноте, слушая время от времени сирену проезжающей полицейской машины, ее снова охватило то же самое чувство, что и в самолете — она забралась слишком далеко, отсюда не вернуться.

Рядом с Тексом можно было смириться с необычностью всего вокруг, теперь же она чувствовала себя так, словно потерпела кораблекрушение на незнакомом берегу, населенном существами, намерения которых непостижимы. И помощи ждать неоткуда, ибо никто не знает, что она здесь.

Несколько ночей она провела в доме Эф Ти. Днем ходила в супермаркеты и другие любопытные места с миссис Эф Ти.

— Ты должна быть чем-то занята, — сказала ей хозяйка. — Ты не должна горевать.

И все же не было способа заставить Малику не тревожиться, что с ней станет в этом немыслимом краю без песеты на кусок хлеба, где лишь милость Эф Ти и его жены ограждает ее от голода.

XVIII

Как-то утром Эф Ти привез Малику в свою контору. Из уважения к нему она тщательно выбрала наряд: строгий серый шелковый костюм от Баленсиаги. Ее появление в конторе вызвало всеобщий интерес. Когда она села перед Эф Ти за столом в небольшом кабинете, он вынул пачку бумаг из ящика. Перелистывая их, он заговорил:

— Бетти сказала мне, что вы беспокоитесь из-за денег.

Увидев, что Малика кивнула, он продолжил:

— Полагаю, у вас вообще ничего нет. Это так?

Она заглянула в сумочку и достала скомканную двадцатидолларовую банкноту, которую дал ей однажды Текс, когда они ходили за покупками.

— Только это, — показала она ему.

Эф Ти прочистил горло.

— Ну так вам не следует волноваться. Как только мы все уладим, у вас будет регулярный доход. Пока я открыл для вас счет в банке внизу в этом здании.

Он видел, что беспокойство пробежало по ее лицу, и поспешно добавил:

— Это ваши деньги. Вы — единственная наследница. После налогов и прочего, у вас останется изрядный капитал. Благоразумно было бы не трогать его, хранить в депозитных сертификатах. Так что не беспокойтесь.

— Да, — сказала она, хотя ничего не поняла.

— Я никогда не разрешал Тексу играть с акциями, — продолжал Эф Ти. — Он ничего не смыслил в бизнесе.

Ее шокировало, что Эф Ти наговаривает на бедного Текса, но сказала она только:

— Ясно.

— Когда мы во всем разберемся и все уладим, у вас останется примерно пятьдесят тысяч в месяц. Может, чуть больше.

Малика посмотрела на Эф Ти.

— А этого хватит? — спросила она с опаской.

Он бросил на нее взгляд поверх очков:

— Полагаю, вы сочтете, что хватит.

— Надеюсь, — сказала она пылко. — Видите, я ничего не понимаю в деньгах. Я ничего не покупала сама. Сколько что стоит? Я не знаю. Только в моей стране.

— Разумеется. — Эф Ти подвинул к ней чековую книжку. — Понимаете, это временный счет, которым вы можете пользоваться, пока не закончены все юридические дела. Надеюсь, вы не превысите кредит. Уверен, что нет. — Он ободряюще улыбнулся. — Не забудьте, — продолжил он, — тут всего двадцать пять тысяч долларов. Так что будьте умницей, следите за вашими расходами.

— Но я не умею этого делать! — воскликнула она. —
Пожалуйста, сделайте за меня.

Эф Ти вздохнул.

— Вы можете написать свое имя? — спросил он очень тихо.

— Текс показывал мне в Лозанне, но я забыла.

Эф Ти невольно всплеснул руками:

— Но, моя дорогая, как же вы собираетесь жить? Так невозможно.

— Невозможно, — произнесла она несчастно.

Эф Ти отодвинул стул и встал.

— Ну, — сказал он бодро, — если чего-то не знаешь, никогда не поздно выучиться. Не хотите ли приходить сюда по утрам и заниматься с мисс Гальпер? Она чертовски умна и научит вас всему, что нужно. Вот что я вам предлагаю.

Он не был готов к столь неистовому отклику. Малика вскочила и обняла его.

— О, Эф Ти! Именно это мне и нужно! Это мне и нужно!

XIX

На следующий день вещи Малики перевезли в отель в Беверли-Хиллз. По совету Эф Ти она оставила Сальвадора — он жил в доме, но теперь работал исключительно шофером. Каждое утро он забирал ее в отеле и отвозил в офис Эф Ти. Такой распорядок ей очень нравился. Мисс Гальпер, милая молодая женщина в очках, проводила время до полудня с ней, а потом они, как правило, вместе обедали. В жизни мисс Гальпер было немного роскоши, и ее заворожили рассказы

Малики о Европе и Марокко. В истории Малики все равно оставалась тайна, потому что она так и не объяснила, как оказалась в квартире Тима в Танжере. По ее версии, она будто появилась на свет во время пикника на пляже в Сиди-Касеме.

Когда, два месяца спустя, Эф Ти понял, что Малика более чем серьезно и решительно настроена продолжать свое практическое образование, он предложил перенести занятия в отель. Теперь Сальвадор возил мисс Гальпер в Беверли-Хиллз и обратно. Иногда они ходили за покупками — небольшие вылазки в Вествуд, которые приводили Малику в восторг, потому что впервые она знала, что сколько стоит, и могла оценивать власть своих денег. Эф Ти объяснил ей, что на средства, которые ей оставил Текс, она сможет жить лучше остальных людей. Поначалу она решила, что он попросту пытается ее утешить, но теперь, разобравшись в ценах, поняла, что он констатировал факт. Малика не сказала мисс Гальпер о том, как удивилась, обнаружив, что вещи стоят так дешево. Вместо этого она завалила ее бесчисленными подарками.

— Это нужно прекратить, Малика, — сказала ей мисс Гальпер.

Первый месяц они занимались одной арифметикой. Потом Малика училась определять время, запоминала названия дней и месяцев. Не без труда мисс Гальпер научила ее ставить подпись в двух вариантах: Малика Хэпгуд и миссис Чарльз Д. Хэпгуд. Когда занятия перенесли в отель, Малика попробовала писать словами сложные суммы, которые ей предлагали в цифрах. Они перешли к датам, и она научилась писать их правильно.

— Все остальное можно поручить секретарше, —

сказала ей мисс Гальпер, — но разбираться с деньгами вы должны сами.

С этой целью она прочитала Малике лекцию о том, как просматривать банковские отчеты, и другую — о сроках покупки ценных бумаг, чтобы обеспечить регулярный доход.

Шли месяцы, Малика все лучше понимала, как функционирует окружающий мир, и, понемногу осознавая меру своего невежества, утвердилась в мысли, что нужно научиться читать то, что пишут в газетах и журналах.

— Я не умею преподавать английский, — сказала ей мисс Гальпер. — Эф Ти мне за это не платит. Можем найти вам хорошего преподавателя, когда захотите.

Малика, убежденная, что она может учиться только у мисс Гальпер, посоветовалась с Эф Ти. Поразмыслив, он предложил план, который привел Малику в восхищение и пришелся по душе мисс Гальпер. Он даст мисс Гальпер годовой оплачиваемый отпуск, если Малика возьмет ее на это время в компаньонки с окладом. Таким образом, намекнул он Малике, она сможет научиться читать. Он добавил, что не считает мисс Гальпер подходящим преподавателем, но поскольку Малика настроилась брать уроки именно у нее, ему кажется, что из этого что-то выйдет.

У мисс Гальпер возникла мысль отправиться в путешествие по Европе. Эф Ти посоветовал им купить большую машину, отправить ее пароходом и взять собой Сальвадора, чтобы тот забрал автомобиль и работал у них шофером. Услышав это, Малика спросила, отчего они не могут поплыть на корабле вместе с машиной. Можно и так, согласился Эф Ти.

В конечном счете, Эф Ти выправил Малике новый паспорт, помог мисс Гальпер и Сальвадору быстро

получить их документы и вместе с миссис Эф Ти устроил им проводы в порту Сан-Педро. Они сели на комфортабельное норвежское грузовое судно, отправлявшееся в Панаму, а затем в Европу.

Корабль уже был в тропических водах. Малика сказала: она думала, что так жарко бывает только в Сахаре и точно не на море. Целый день ей было нечем заняться. Сальвадор почти все время спал. Мисс Гальпер сидела на палубе и читала. Она отказалась давать Малике уроки во время плавания.

— От этого у меня начнется морская болезнь, — заверила она. Но, заметив, что Малике скучно, подолгу с ней разговаривала.

XX

Малика не могла, подобно мисс Гальпер, просто сидеть и смотреть на море. От ровного горизонта со всех сторон у нее возникало такое же ощущение нереальности, как на самолете с Тексом. Облегчение наступило в Панаме, когда наконец стало ясно, что корабль все эти дни не стоял на месте, и они добрались до совершенно другой части мира.

Целый день они шли по каналу. Малика стояла на палубе под солнцем, махая рукой мужчинам, работавшим на шлюзах. Но после Панамы ее беспокойство росло с каждым днем. Она стала реже играть в шашки с зевающим Сальвадором в узком пассажирском салоне. За игрой они не разговаривали никогда. С самого начала путешествия капитан убеждал Малику подняться на мостик. Как-то раз мисс Гальпер упомянула, что он

имеет право захватить любого человека на корабле и запереть его в темной камере где-то внизу. Когда Малика, в конце концов, приняла его приглашение, она взяла мисс Гальпер с собой.

Стоя на носу корабля, Малика смотрела вперед на белые здания Кадиса. Когда судно входило в порт, свет в воздухе, цвет стен и принесенные ветром запахи подсказали ей, что она вернулась в свою часть мира и дом уже близко. Долгое время Малика отказывалась думать о домике над оврагом. Теперь, когда он больше ее не пугал, она вспоминала его чуть ли не с любовью.

Это ее долг — пойти и проведать мать, даже если та встретит ее в штыки. Она попытается дать матери денег, а та наверняка откажется. Но Малика задумала хитрость. Если мать не возьмет деньги, она скажет, что оставит их соседке Мине Глагге. Как только Малика скроется, мать немедленно пойдет и заберет их.

Мисс Гальпер надеялась провести ночь в Кадисе, но Малика потребовала сразу ехать в Альхесирас. Теперь, когда дом был совсем близко, она хотела добраться туда как можно скорее.

— Мне надо к маме, — сказала она. — Сперва хочу ее повидать.

— Конечно, — сказала мисс Гальпер. — Но вы не виделись два года или больше, и она вас не ждет. Какая разница, днем раньше или позже?

— Сюда мы можем вернуться. А теперь мне надо поехать к маме.

В Альхесирасе в тот вечер они увидели, что Сальвадор ужинает в другом конце длинного ресторана гостиницы. Он сменил свою форму на серый фланелевый костюм. Присмотревшись, Малика сказала:

— Он пьет вино.

— Завтра будет в порядке, — сказала ей мисс Гальпер.
— Они вечно пьют, эти филиппинцы.

Он стоял у дверей, ухмыляясь, когда они вышли из отеля утром, чтобы ехать в порт. Большинство пассажиров, направлявшихся в Танжер, были марокканцами. Малика забыла, как бесстыдно пристально ее соотечественники смотрят на женщин. Теперь она снова оказалась среди своих. Это открытие потрясло ее: восторг мешался с мрачными предчувствиями.

XXI

Когда они разместились в отеле, Малика спустилась вниз к конторке портье. Она собиралась навестить мать вечером, когда та наверняка будет дома и появится веский предлог не оставаться надолго. Она собиралась забронировать две комнаты в Тетуане на ночь — для себя и Сальвадора, а утром вернуться в Танжер. Портье сказал ей, что на пляже в миле от ее города открылся новый отель. Она попросила позвонить туда и забронировать номер.

Комната мисс Гальпер была чуть дальше по коридору. Малика постучала и сказала, что уедет часов в пять, чтобы поспеть в отель до темноты.

Мисс Гальпер пытливо взглянула на нее.

— Хорошо, что вы делаете это сейчас, чтобы потом об этом не думать, — сказала она.

— Вы можете здесь развлечься, — сказала Малика. — Можете сходить в бары.

— Нет, спасибо. От здешних мужчин у меня мурашки. Они все пытаются заговорить.

Малика пожала плечами:

– Какая разница? Вы же не понимаете, что́ они говорят.

Ну и хорошо, думала она. Непристойные замечания, которые мужчины отпускали вслед женщинам, казались ей отвратительными и возмущали ее. Повезло мисс Гальпер, что она совсем не знает арабского.

Она торопливо попрощалась и поспешила в свой номер. Предстоящая встреча с матерью тревожила ее. Машинально она положила что-то из одежды в сумку, собранную на ночь. По пути обналачила несколько дорожных чеков, и вскоре они с Сальвадором катили в Тетуан.

Шарфы белых облаков тянулись от горных пиков. Сальвадор критиковал узкое шоссе. Малика вполуха слушала его жалобы. Ее сердце учащенно билось. Неправда, что она возвращается помочь матери: она едет, потому что такова судьба. Со дня бегства видение триумфального возвращения не покидало ее: она окажется живым свидетельством, что мать ошибалась, и она не такая, как другие девочки в городке. Теперь, когда момент приближался, Малика стала подозревать, что визит обречен на провал. Увидев ее, мать не почувствует радость – только неприязнь и горечь оттого, что она была с назарейями.

– На Пилипинах дороги лучше этой, – заметил Сальвадор.

– Не гони, – сказала она.

Они обогнули Тетуан и свернули налево на дорогу к ее городу. В машину врывался морской ветер.

– *Бисмилла*, – прошептала она чуть слышно, ибо теперь наступил решающий момент путешествия.

Она поняла, что уже город, только когда они оказались

на главной улице. Тут были большие новые здания и яркие огни. Все выглядело совсем иначе. Мысль, что за время ее отсутствия город мог измениться, не приходила ей в голову: меняется она сама, а город остается недвижимым задником, который поможет ей определить и измерить ее преобразование.

Через пару минут они прибыли в новый отель, раскинувшийся на пляже в свете зеленых прожекторов.

XXII

Вскоре Малика обнаружила, что это не настоящий отель. Нельзя было заказать еду в комнату, а в столовой подавали только закуски. Перед тем, как поесть, она влезла в джинсы, купленные в Лос-Анджелесе по совету мисс Гальпер. Она надела свитер, а голову укутала шелковым платком. В таком наряде она чувствовала себя совершенно неузнаваемой.

Сальвадор уже ел за стойкой. Она присела рядом на табурет и заказала пинчитос¹. Ее желудок протестовал от мысли о еде, но она жевала и глотала мясо, потому что научилась, что для хорошего самочувствия нужно регулярно питаться. Скрежет радиоприемника на краю стойки мешался со скучным, монотонным шумом волн, набегающих на песок. Если ее мать взбесится и кинется на нее с кулаками, она пойдет прямо к Мине Глагге, отдаст ей деньги, и с этим будет покончено. Она подписала счет и вышла против ветра к машине.

¹ Закуска из баранины, наподобие шашлыка.

Новый облик города обескуражил ее. Рынок перенесли, его нигде не было видно, и Малику возмутило такое предательство. Сальвадор оставил машину на заправке, и они пошли по узкой улочке к дому. Фонари горели только в начале пути; дальше стало бы совсем темно, если бы не луна. Сальвадор посмотрел вперед и сказал, что лучше пойти назад и вернуться сюда утром.

— Жди меня здесь, — сказала она твердо. — Постарайся не задерживаться. Я знаю дорогу. — И быстро пошла вперед, не успел он возразить.

Пройдя по пустой, залитой лунным светом улице, она добралась до маленькой площадки, откуда — по крайней мере, днем — был виден дом ее матери, стоящий на краю оврага. Теперь же, казалось, лунный свет вообще не падает на него: она не заметила ни малейших признаков дома. Она поспешила дальше — ее уже охватило кошмарное предчувствие — и остановилась, недоверчиво приоткрыв рот. Дома не было. Даже земля, на которой он стоял, исчезла. И дом Мины Глагги, и все дома на краю оврага пропали. Бульдозеры сотворили новый, опустошенный пейзаж — огромную насыпь земли, пепла и мусора, которая уходила вниз ко дну оврага. Домик с садиком когда-то был как раз под тем местом, где теперь стояла она. Почувствовав, как сжимается горло, она сказала себе: его больше нет.

Отвернувшись от бессмысленной пустоши, она пошла назад, снова оказалась на площадке и постучала в дверь одного из домов. Женщина, открывшая дверь, была подругой матери — ее имя Малика забыла. Она с отвращением посмотрела на джинсы Малики и не пригласила ее войти. Они поговорили на пороге. Бесцветным голосом женщина сообщила, что ее мать умерла больше года назад, во время Рамадана.

— Повезло ей, — добавила женщина, — что не дожила до того дня, когда снесли ее дом, чтобы построить новую дорогу.

Кажется, сестра Малики уехала в Касабланку, но точно она не знает.

Женщина прикрыла дверь, почти захлопнула. Малика поблагодарила ее и пожелала спокойной ночи.

Она подошла и встала на краю мусорной кучи, глядя вниз на однообразную гладь склона, нереальную даже в ярком свете луны. Ей пришлось закрыть глаза, чтобы остановить слезы, которые все текли, хотя ей это и казалось странным, потому что она не горевала из-за матери. Потом она все поняла. Это не из-за матери ей хотелось плакать, а из-за себя. Теперь не осталось никакой причины что-либо делать.

Ее взгляд бесцельно скользнул по мрачной равнине к далеким горам. Хорошо бы погибнуть здесь, в том самом месте, где она жила, оказаться погребенной вместе с домом под омерзительной кучей. Она пристукнула по краю каблуком, потеряла равновесие и заскользила вниз по отвалам пепла и гниющих объедков. В этот миг она была уверена, что это наказание за то, что секунду назад хотела умереть: от ее веса проснулся оползень, он потянет ее вниз и похоронит под тоннами мусора. В ужасе она замерла, прислушиваясь. Что-то тихо шуршало и щелкало вокруг, но вскоре все звуки стихли. Она выкарабкалась обратно на дорогу.

На луну стало наползать облако. Малика поспешила наверх, к уличному свету, где ждал ее Сальвадор.

1976

ВОДЫ ИЗЛИ

Никто бы и не догадался, глядя на эти две деревушки, раскинувшиеся одна выше другой на солнечном склоне горы, что между ними есть какая-то вражда. И все же, если приглядеться внимательней, можно заметить, как по-разному они обе вписываются в пейзаж. Тамлат — выше, дома там отстоят друг от друга дальше, а между ними растут деревья. В Изли же все скученно, поскольку места не хватает. Вся деревня, похоже, выстроена на глыбах да откосах. Тамлат окружают зеленые поля и луга. Он наверху стоит, там долина шире, для хозяйства — простор, вот люди и живут хорошо. А в Изли все сады — на террасах, карабкаются вверх, как ступени крутой лестницы. Как бы там ни старались селяне овощи-фрукты выращивать, им никогда не хватало.

Словно бы в утешение за несчастливое место за деревней бил большой родник — вода его была самой сладкой во всей округе. Излийцы утверждали, что он невероятно целебный; тамлатцы же эту мысль отвергали, хотя и сами частенько спускались набрать домой воды в свои бурдюки и кувшины. А забор вокруг источника ну никак не поставишь — иначе б излийцы давно уже его так огородили, что никто, кроме своих, и близко подойти бы не мог. Если б только тамлатцы признали, что в Изли вода лучше, их бы со временем уговорили менять ее на какие-нибудь овощи. Но они нарочно об этом никогда не упоминали и вели себя так, будто источника не существует вовсе, — вот только за этой водой ходили как ни в чем ни бывало.

Ближе всех к источнику лежал участок человека по имени Рамади. Говорили, что он — самый богатый в Изли.

По меркам же Тамлата, его даже обеспеченным назвать было нельзя. Но единственной лошастью на все Изли была его черная кобыла, а в саду на восьми разных уровнях росли двадцать три миндальных дерева, и на каждой террасе он вырыл канавы, по которым текла чистая вода. Кобыла его была очень красива, и он ее холил. А когда надевал белый *салам* и выезжал на ней из деревни, излияцы говорили друг другу, что он похож на самого Сиди Бухаджу. Очень лестный комплимент, поскольку Сиди Бухаджа был самым главным святым в этой местности. Он тоже носил белые одежды и ездил на черной лошади, хотя его лошадь была жеребцом.

Долгое время Рамади искал своей кобыле подходящую пару. Однако ни одного жеребца, которых он смотрел в соседних деревнях, нельзя было назвать равным ей. Принять же он мог бы только одного — великолепного черного жеребца, на котором ездил сам Сиди Бухаджа, только и речи быть не могло о том, чтобы просить святого о такой услуге.

Многие считали, что Сиди Бухаджа умеет разговаривать со своим конем. Верили в это, поскольку он сам объявлял прилюдно несколько раз, что в миг его смерти именно конь решит, где следует его похоронить. Он просил, чтобы его тело посадили верхом и привязали, а коня отпустили куда глаза глядят. Где он остановится, там и закапывать. Люди поэтому и сомневаться не смели, что у старика и его коня есть свой тайный язык.

Среди местных жителей ходило много разговоров, какой деревне повезет: кто увидит такое важное событие, — однако, толкам пришел конец, когда сам Сиди Бухаджа как-то днем рухнул без чувств, сидя у мечети в Тамлате.

В тот самый день святой проехал через Изли мимо дома Рамади. Кобыла стояла перед домом, в тени старой оливы. Жеребцу хотелось остановиться, и Сиди Бухаджа с большим трудом уговорил его идти дальше. Рамади наблюдал за этим разговором, почесывая бороду и размышляя: замечательно было бы, если б жеребец вдруг встал на дыбы вместе со святым да и покрыл кобылу. Но, устыдившись, Рамади отвернулся.

Под конец того дня Рамади оседлал кобылу и поехал в Тамлат. В одном уголке рынка там он заметил знакомого излийца — заклинателя змей из аисцев — и присел с ним поговорить. Тот-то и рассказал ему новость о смерти Сиди Бухаджи.

Он выпрямился и замер. Аисец добавил, что святого скоро будет привязывать к коню.

— И куда, по-твоему, он пойдет? — спросил Рамади.

— Наверное, сюда, на рынок зерна, — ответил аисец.

— А у тебя змеи с собой?

Аисец удивился.

— Да, с собой, — сказал он.

— Отнеси их вон к тому повороту — пусть жеребец их увидит, — велел ему Рамади. — Он должен спуститься с горы.

А сам встал, прыгнул в седло и уехал.

Аисец сбегал в *фондук*, где оставил корзину с гадюками и кобрами, и поспешил к перекрестку, где дорога отворачивала с главной улицы и начинала спускаться по склону.

Поскольку все тамлатцы наблюдали, как старейшины привязывают тело Сиди Бухаджи к спине жеребца, Рамади на своей кобыле проскакал незамеченным по деревне и галопом спустился в Изли. Добравшись до дому, оставил кобылу под оливой и начал ждать.

А в Тамлате айсец сидел на обочине дороги со своей корзиной. Наконец, перед ним показался жеребец с привязанной к спине священной ношей. Легким галопом он направился по улице к заклинателю; старейшины следовали за ним в отдалении. Айсец открыл корзину, вытащил пару змей покрупнее и взял по одной в каждую руку. Когда жеребец подскочил поближе, он встал и заставил змей извиваться в воздухе. Жеребец дико повел глазом и свернул вправо, вниз по дороге из деревни.

Айсец упрятал змей в корзину и как ни в чем ни бывало вышел из кустов, за которыми старейшины его до сих пор не видели. Они и теперь не обратили на него никакого внимания, а он зашагал себе в Изли. Впереди он видел черный силуэт жеребца, галопом мчавшегося с горы, и белый куль на конском крупе, что подскакивал под лучами солнца. Пройдя еще немного, айсец обернулся. Старейшины по-прежнему стояли на перекрестке, прикрывая глаза от яркого света, и вглядывались в долину.

А Рамади сидел себе на пороге и ждал, когда жеребец ворвался в деревню, остановился на мгновение и рысью направился напрямик к дому Рамади. Кобыла стояла спокойно под оливой, отгоняя хвостом мух. Не успел никто из свидетелей подбежать, как жеребец встал на задние ноги, поднявшись до огромной высоты, и ремни, державшие Сиди Бухаджу у него на спине, лопнули. Труп в белом *селаме* шмякнулся на землю в тот миг, когда жеребец покрыл кобылу. Рамади подбежал и оттащил тело в сторонку, чтобы не мешало. И вернулся на порог — смотреть.

Чуть погода примчались соседи, внесли Сиди Бухаджу во двор к Рамади, не переставая возносить Аллаху хвалы. К тому времени, как в Изли подоспели тамлатские старейшины, жеребец и кобыла уже тихо стояли под оливой, а излийские *толба* тянули свой напев в доме Рамади.

Тамлатцы подавили досаду и приняли волю Аллаха. Конь пришел в Изли и остановился здесь — стало быть, здесь Сиди Бухаджи и следует хоронить. Они помогли излийцам вырыть могилу, весть разлетелась по всем окрестным деревням, и *толба* из многих мест пришли отпеть покойника.

И сразу же паломники начали стекаться в Изли, взыс-
кая *бараки* у могилы Сиди Бухаджи. Вскоре потребовалось снести дом Рамади и на его месте выстроить приют, где паломники могли бы ночевать. Тогда же у оливы, над местом последнего упокоения святого, возвели *куббу* под куполом, а вокруг нее — высокую стену. А Рамади дали другой дом, поблизости.

Все паломники запасались водой из источника, и слава о ней вскоре разнеслась повсюду, а источник стал очень знаменит. Даже те, кто не почитал Сиди Бухаджу, приходили пить эту воду и набирали ее с собой. Взамен они оставляли в святилище приношения — еду и деньги. Год и закончиться не успел, как Изли стала богаче Тамлата.

Только Рамади и айсец знали, как навели они удачу, отчего деревня их преобразилась, — однако даже не задумывались об этом, поскольку на все воля Аллаха. Для Рамади главным была красота того черного жеребенка, что ходил теперь всюду за кобылой, куда бы хозяин ни выезжал на ней — вниз, в долину, или наверх, на тамлатский рынок.

1976

СГЛАЗ

Десять или двенадцать лет назад приехал в Танжер человек, которому лучше было бы держаться подальше. То, что с ним произошло, ни в коей мере не было его виной, о чем бы там ни шептались англоязычные обитатели города. Зачастую реакция у этих людей — будто в каких-то примитивных племенах: когда беда настигает одного, остальные по общему согласию не предлагают ему помощь, а просто избегают его и наблюдают, уверенные, что он сам накликнул на себя несчастье. На него наложено табу, и помощь ему не положена. Вот и этого человека никто особо не утешал, и молчаливое неодобрение, порожденное его неудачами, наверняка еще больше отравило последние месяцы его жизни.

Звали его Дункан Марш, и говорили, что он приехал из Ванкувера. Я его никогда не видел, и не знаю ни одного человека, который бы утверждал, будто видел его. К тому времени, когда историю принялись обсуждать на коктейлях, он был уже мертв, так что безответственные жители чувствовали, будто вправе тешить свою страсть к мифотворчеству.

В Танжер он приехал один, снял обставленный дом на склоне Джамаа-эль-Мокры — в те времена отыскать жилье там было нетрудно, да и недорогое в придачу — и нанял ночным сторожем марокканского подростка. Владелец дома предоставлял жильцу кухарку и садовника, но оба сразу лишились мест: кухарку сменила женщина, которую рекомендовал сторож. Вскоре после этого Марш почувствовал первые симптомы желудочного недомогания, которое с каждым месяцем становилось сильнее. Танжерские врачи посоветовали ему

уехать в Лондон. Два месяца он провел там в больнице, и ему вроде бы стало лучше. Точный диагноз однако не поставили, и, вернувшись, он оказался прикован к постели. В конце концов, его отправили в Канаду на носилках, и там он вскоре скончался.

Во всем этом не было ничего необычного; все предположили, что Марша, как и прочих, медленно травил местная прислуга. За пять десятков лет, которые я провел в Танжере, было еще несколько подобных случаев. И всякий раз говорили, что жертва из Европы сама виновата, поскольку не соблюдала дистанции в отношениях с прислугой. Стороннего человека поразит, что никто ни разу не взялся разобраться и не принялся искать злоумышленника, но при полном отсутствии доказательств расследование проводить нет смысла.

Историю дополняют две детали. В какой-то момент во время своей болезни Марш рассказал приятелю о том, как он финансово обеспечил сторожа на случай своего отъезда из Марокко; он дал мальчику заверенное письмо, но тот, похоже, так и не заявил о своих правах. Другое сообщение поступило от доктора Холси, врача, который организовал доставку Марша из дома в аэропорт. То был последний фрагмент информации — для меня, во всяком случае, — чтобы история облеклась плотью. По словам доктора, на подошвы ног Марша не раз наносились насечки в виде грубых рисунков; порезы были недавние, но некоторые уже нагноились. Доктор Холси вызвал кухарку и сторожа: они изобразили удивление и испуг, увидев ноги хозяина, но не смогли объяснить происхождение ран. Через несколько дней после отъезда Марша кухарка и садовник, работавшие там прежде, вернулись в дом, а новые слуги его покинули.

Медленное отравление — вполне классическая история, особенно в свете замечания Марша о том, что он обеспечил благосостояние мальчика, однако нарисованные ножом линии на ногах как-то не вязались ни с какими доступными воображению комбинациями мотивов. Я подумал об этом. Мало сомнений, что мальчик виновен. Он убедил Марша избавиться от работавшей в доме кухарки, хотя ей по-прежнему платили жалованье, и нанять на кухню другую женщину: скорее всего, свою родственницу. Чтобы отравление не выявили, следует добавлять яд несколько месяцев, и проще всех это сделать кухарке. Ясно, что она знала о финансовых распоряжениях в пользу мальчика и рассчитывала поживиться. В то же время кресты и круги на ногах не поддавались объяснению. Медленный отравитель терпелив, осторожен, методичен; его главная забота — сохранять эффективную дозировку и избегать заметных следов. Бравада — не его стезя.

Прошло время, и разговоры о Дункане Марше прекратились. Да и я вспоминал о нем все реже, поскольку реальных гипотез не было. Как-то вечером, лет пять назад, ко мне пришел местный американец и рассказал, что встретил марокканца, утверждающего, что он работал у Марша ночным сторожем. Парня звали Ларби, он работал официантом в «Ле Фён Бек», маленьком ресторане на отшибе. По-английски он говорил плохо, но понимал без труда. За что купил, за то и продаю, сказал мне американец: вдруг мне придет в голову воспользоваться его информацией.

Я поразмыслил и как-то вечером через несколько недель пошел в ресторан поглядеть на Ларби. Там было сумрачно и полно европейцев. Я присмотрелся к трем официантам. Они были похожи друг на друга:

с большими черными усами, в джинсах и теннисках. Мне передали меню, читать его было трудно даже под маленькой лампой на столе. Когда человек, принесший меню, вернулся, я спросил о Ларби.

Он выдернул меню у меня из рук и отошел от стола. Миг спустя другой из троицы подошел ко мне и вручил меню, которое держал подмышкой. Я заказал по-испански. Когда он принес суп, я тихо сказал: меня удивляет, что он тут работает. Это его озадачило; он пытался вспомнить, где мы встречались.

— А почему бы мне здесь не работать? — Голос у него был ровный, без интонаций.

— Конечно! Почему бы и нет? Просто я думал, что у тебя базар или какая-то лавка.

Он презрительно фыркнул.

— Базар!

Когда он принес следующее блюдо, я попросил прощения за то, что лезу в его дела. Но меня это заинтересовало, объяснил я, потому что несколько лет я был уверен, что он получил состояние от англичанина.

— Вы о сеньоре Марше? — Наконец-то он заинтересовался.

— Да, так его звали. Он ведь дал тебе письмо? Он сказал всем друзьям, что дал.

Он посмотрел над моей головой и ответил:

— Он дал мне письмо.

— А ты его кому-нибудь показывал? — Это было не очень тактично, но бывают случаи, когда лучше идти к цели напролом.

— Зачем? Какой толк? Сеньор Марш умер. — Он решительно мотнул головой и отошел к другому столу. К тому времени, когда я доел крем-карамель, большинство посетителей ушло, ресторан казался еще темнее.

Ларби подошел узнать, хочу ли я кофе. Я попросил счет. Когда он его принес, я сказал, что очень хочу прочесть письмо, если оно сохранилось.

— Приходите завтра вечером или в другой день, я покажу. Оно у меня дома.

Я поблагодарил его и пообещал снова зайти через два-три дня. Я был озадачен, когда уходил из ресторана. Ясно было, что официант не считает себя виновником бед Дункана Марша. Через несколько дней, прочитав документ, я вообще перестал что-либо понимать.

Это было даже не письмо, а *papier timbré*¹ того сорта, что продаются в табачных киосках. Говорилось там просто: «Всем, кого это может касаться: Я, Дункан Уайтлоу Марш, выражаю готовность переводить сумму в одну сотню фунтов на счет Ларби Лаирини первого числа каждого месяца, покуда я жив». Оно было подписано и заверено в присутствии двух марокканских свидетелей, стояла дата: 11 июня 1966 года. Я вернул его со словами:

— И никакого толка от него не было.

Он пожал плечами и положил записку в бумажник.

— С чего ж ему быть? Он ведь умер.

— Плохи дела.

— *Suerte*. — В Марокко это слово означает скорее судьбу, чем просто удачу.

В тот раз я мог продолжить расспросы и поинтересоваться у него, что он думает о причинах болезни Марша, но решил сперва обдумать то, что узнал. Я подумал и сказал:

— Жаль, что все так обернулось. Зайду еще через несколько дней.

¹ гербовая бумага (*фр.*)

Он протянул руку, и я пожал ее. У меня еще не было точного плана. Я мог вернуться скоро, а мог и вовсе не приходить.

«Покуда я жив». Эта фраза преследовала меня несколько недель. Возможно, Марш сформулировал это так, чтобы его сразу поняли танжерские *адулы*, которые скрепили бумагу своими витиеватыми подписями; но я не мог избежать соблазна истолковать эти слова более мелодраматично. Для меня документ означал закрепление договоренности, существовавшей между хозяином и слугой: Марш нуждался в помощи сторожа, а сторож соглашался ее предоставить. Оснований для такого предположения не было, но я чувствовал, что стою на верном пути. Постепенно у меня возникла мысль, что если мне удастся поговорить со слугой по-арабски, причем — в том самом доме, я смогу разобраться во всем.

Как-то вечером я пришел в «Ле Фён Бек» и, не садясь, вызвал Ларби на улицу, где спросил его, не может ли он узнать, живет ли кто-нибудь в доме, который снимал сеньор Марш.

— Там никто не живет. — Он помолчал и добавил: — Там пусто. Я знаю охранника.

Я решил, несмотря на нехватку арабского, поговорить с ним на его языке:

— Послушай. Я хочу пойти с тобой в дом и посмотреть, где все это случилось. Я дам тебе пятнадцать тысяч франков за услугу.

Он был поражен, когда услышал арабский; затем на его лице вспыхнуло удовольствие:

— Ему не велено никого пускать.

Я дал ему три тысячи франков.

— Договорись с ним. И пятнадцать тебе когда мы от туда уйдем. Можем сходить в четверг?

Дом, похоже, был построен в пятидесятые, когда еще умели делать все добротно. Он был надежно укреплен в склоне холма, за ним высился лес. Нам пришлось подняться на три лестничных пролета в саду, чтобы добраться до входа. Охранник, косоглазый джиблиец в коричневой *джеллабе*, шел за нами по пятам, недоверчиво на меня поглядывая.

Наверху была широкая терраса с видом на юго-восток — на город и горы. За террасой тенистая лужайка переходила в лес. Гостиная была большая и светлая, со створчатыми дверями, выходящими на лужайку. В воздухе висели запахи влажной штукатурки и плесени. Меня охватила абсурдная убежденность, что сейчас я пойму все; я заметил, что дыхание мое участилось. Мы прошли в столовую. Дальше был коридор и спальня Марша — темная, с закрытыми ставнями. Широкая спираль лестницы спускалась на этаж, где находились еще две спальни, а потом еще ниже — в кухню и комнаты прислуги. Дверь кухни выходила в мощный плитам дворик, стены которого оплел высокий филодендрон.

Ларби выглянул и покачал головой.

— Тут-то все беды и начались, — произнес он угрюмо.

Я поспешил выйти и сел на чугунную скамью на солнце.

— Сыро внутри. Давай лучше здесь посидим.

Охранник покинул нас и запер дом. Ларби присел на корточки у скамейки.

Все было бы в порядке, сказал он, если бы Маршу понравилась Ясмина, кухарка, чье жалованье было включено в арендную плату. Но работала она небрежно, и еда была скверная. Марш попросил Ларби найти другую кухарку.

— Я его сразу предупредил, что у этой женщины, Мериам, маленькая дочь, и она иногда будет оставлять

ее у друзей, а иногда брать с собой на работу. Он сказал, что ему все равно, лишь бы она вела себя тихо.

Женщину наняли. Два-три раза в неделю она приходила с дочкой, и та играла в патио, где мать могла за ней присмотреть. С самого начала Марш жаловался, что девочка слишком шумит. Несколько раз он просил передать Мериам, чтобы она утихомирила ребенка. И как-то раз тихо обошел дом снаружи и спустился во дворик. Встал на четвереньки, подобрался к девочке и скорчил ей такую злобную рожу, что она завизжала. Когда Мериам выбежала из кухни, он встал с улыбкой и ушел. Девочка продолжала кричать и выть в углу кухни, пока Мериам не отвела ее домой. Ночью девочка по-прежнему плакала, у нее поднялась температура. Несколько недель она металась между жизнью и смертью, а когда опасность миновала, она не могла ходить.

Мериам, зарабатывавшая неплохо, советовалась со многими *фкихами*. Все были убеждены, что ребенка сглазили; и ясно было, что это сделал назарей, у которого она работала. Они объяснили ей, что делать: подсыпать Маршу порошки, которые помогут отвести порчу. Это было абсолютно необходимо, сказал Ларби, мрачно глядя на меня. Даже если бы сеньор согласился снять глаз (а, разумеется, Мериам с ним ни за что бы об этом не заговорила), сам это сделать он бы не смог. То, что она подсыпала, не могло ему повредить; это было просто лекарство, чтобы его успокоить: так что когда придет время снять заклятье, он бы не сопротивлялся.

Как-то раз Марш рассказал Ларби о своих подозрениях, что Мериам подсыпает ему в еду снотворное, и просил его быть бдительным. Бумага о выплатах Ларби была подписана, чтобы заручиться его поддержкой. Поскольку Ларби считал, что смеси, которыми Мериам

потчует хозяина, относительно безвредны, он разубедил Марша, а ей разрешил и дальше давать ему снадобья.

Ларби устал сидеть на корточках, резко встал и принялся бродить взад-вперед, стараясь ступать в центр каждой плиты.

— Когда ему пришлось поехать в больницу в Лондон, я сказал ей: «Видишь, он из-за тебя заболел. А вдруг он не вернется? Ты никогда не снимешь порчу». Она огорчилась. «Я сделала, что могла, — сказала она. — На все воля Аллаха».

Когда Марш все-таки приехал в Танжер, Ларби убедил ее поскорее довести дело до конца, раз уж ей так повезло, что он вернулся. По его словам, он думал, что для здоровья сеньора будет лучше, если лечение закончится поскорее.

Пока он говорил, я не задавал вопросов: я старался, чтобы на моем лице ничего не отразилось, подозревая, что он замолчит, если заметит хоть малейшее неодобрение. Солнце скрылось за деревьями, во дворе стало зябко. Мне очень хотелось встать и пройти взад-вперед, как он, но я решил, что и это заставит его замолчать. Если один раз прервать поток, он может не возобновиться.

Вскоре Маршу стало еще хуже, у него начались жуткие боли в желудке и почках. Он не вставал с постели, и Ларби приносил ему пищу. Увидев, что он не может встать даже в туалет, Мериам решила, что пришло время избавиться от сглаза. В ту же ночь, когда *фких* провел церемонию в ее доме в присутствии девочки-калеки, четверо родственников Мериам поднялись к Джамма-эль-Мокре.

— Когда я увидел, что они идут, я сел на мотоцикл

и уехал в город. Я не хотел быть тут, когда они это делают. Я тут не при чем.

Ларби остановился и потер руки. Я услышал, как в деревьях зашумел юго-западный ветер — как раз пришел его час.

— Пойдем, покажу кое-что, — сказал Ларби.

Мы поднялись по ступеням за домом и оказались на террасе с увитой цветами беседкой. За нами была лужайка и стена деревьев.

— Ему потом было очень плохо два дня. Он все просил, чтобы я позвонил его английскому врачу.

— А ты не позвонил?

Ларби перестал шагать и посмотрел на меня.

— Мне надо было сначала все убрать. Мериам не хотела к нему прикасаться. Это было в сезон дождей. Он был весь в грязи и крови, когда я вернулся. На следующий день я вымыл его в ванной и поменял ему простыни и одеяла. И убрался в доме, потому что они натоптали, когда тащили его назад. Пойдем. Покажу, куда они его отнесли.

Мы пересекли лужайку и двинулись по густой траве у опушки леса. Тропинка свернула направо через заросли, и мы двинулись по ней, перебираясь через камни и поваленные деревья, пока не добрались до старого каменного колодца. Я перегнулся через край и увидел далеко внизу крошечный кружок неба.

— Им пришлось тащить его сюда, понимаете, и держать над колодцем, пока они резали знаки у него на ногах, чтобы кровь падала прямо в воду. Нехорошо, если она попадет на край колодца. Им надо было сделать те же знаки, которые *фких* нарисовал на бумаге для девочки. Это трудно, когда темно и дождь. Но они все сделали. Я видел разрезы, когда купал его.

Осторожно я спросил его, не находит ли он связи между всем этим и смертью Марша. Он перестал смотреть в колодец и отвернулся. Мы направились к дому.

— Он умер потому, что пришло его время.

— А удалось ли снять порчу? — спросил я. — Смог ли ребенок ходить?

Но он ничего не знал, потому что вскоре Мериам уехала в Кенитру к сестре.

В машине, когда мы ехали в город, я протянул ему деньги. Он смотрел на них несколько секунд, потом сунул в карман.

Высадив его в городе, я почувствовал легкое разочарование и понял, что не просто ожидал, а всерьез надеялся найти человека, которого можно обвинить. Что составляет преступление? Здесь не было преступного умысла — лишь мать, блуждающая в потемках древнего невежества. Я думал об этом, пока ехал домой в такси.

1976

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Друг мира, перевод Д. Волчека | 5 |
| Гиена, перевод А. Драгомощенко | 19 |
| Ветер в Бени-Мидаре, перевод К. Лебедевой | 24 |
| Сад, перевод М. Немцова | 40 |
| Время дружбы, перевод К. Лебедевой | 45 |
| День с Антеем, перевод М. Немцова | 86 |
| Медждуб, перевод М. Немцова | 92 |
| Фких, перевод М. Немцова | 100 |
| Напоминания о Бузельхаме, перевод К. Лебедевой | 105 |
| Истихара, анайя, Медаган и медаганаты, перевод К. Лебедевой | 117 |
| Что исчезло и что осталось, перевод К. Лебедевой | 123 |
| Полночная месса, перевод Д. Волчека | 129 |
| Век учись, перевод Д. Волчека | 140 |
| Воды Изли, перевод М. Немцова | 195 |
| Сглаз, перевод Д. Волчека | 200 |